



Кристофер Мур
Венецианский аспид
Серия «Карман из Песых Мусек», книга 2

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9363225
Мур, Кристофер. Венецианский аспид: Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-77918-5

Аннотация

Вы соскучились по шуту Карману – герою романа Мура «Дурак»? А может, вы и вовсе пока не знакомы? Пришло время вновь встретиться или познакомиться – кому как.

Итак, Венеция. Сюда Корделия посылает Кармана, дабы тот предотвратил очередной крестовый поход, который затевается интриганом Монтрезором Брабанцио, сенатором, и его подельниками – купцом Антонио и солдатом Яго.

Здесь Карману предстоит познакомиться с Отелло, поспособствовать его счастливой свадьбе с Дездемоной, попасть в рабство к ростовщику Шайлоку. Карману то и дело угрожает опасность, но дурак вовсе не дурак – он хитроумно избегает расставленных ловушек и даже со страшным венецианским аспидом он на дружеской ноге. Следить за его приключениями необычайно интересно и увлекательно. А иначе и быть не может – ведь все это придумал Мур...

Содержание

От окаянного переводчика	5
Действие I	7
Явление первое	8
Явление второе	14
Явление третье	17
Явление четвертое	22
Явление пятое	27
Явление шестое	33
Действие II	39
Явление седьмое	39
Явление восьмое	45
Явление девятое	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Кристофер Мур

Венецианский аспид

Christopher Moore

The Serpent of Venice

Copyright © 2014 by Christopher Moore

© Немцов М., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2015

От окаянного переводчика

Ну что, автор опять это сделал – соткал гобелен из Шекспира, вплетя в него, правда, нить Эдгара По, а сверху раскрасил постмодернистским граффити. Получилось весьма непочтительное и вполне лихое продолжение походов находчивого шута Кармана (который, правда, уже не шут) в условной Венеции, куда тоже хочется приехать, как в условную Англию романа «Дурак», и побродить по тем же местам. Но побывать там мы по ряду объективных причин не можем, а вот снова прикоснуться к трудам Уильяма Шекспира удастся. Зачем Кристоферу Муру понадобился для этого Эдгар По, станет ясно по ходу повествования.

Окаянному же переводчику вновь пришлось воссоздавать эту причудливую ткань повествования, пользуясь тем богатым наследием, которое нам оставили героические переводчики Шекспира (и Эдгара По) на русский. Пусть англоязычные и прочие читатели нам завидуют – у них есть лишь один Бард, у нас их гораздо больше, и все друг от друга чем-то отличаются. Сравнивая различные переводы при работе над этим романом, я обнаружил много удивительного и даже чудесного в старых и новых версиях хорошо известных текстов, читателю же остался виден только скромный результат этих изысканий. Местами это даже своего рода центон, литературная игра, известная человечеству с древнейших времен. Ну потому что жаль было оставлять за бортом такое богатство, согласитесь.

При работе над переводом этого романа я пользовался десятью переводами «Отелло», четырьмя – «Венецианского купца», двумя – «Гамлета» и еще несколькими источниками, которые вы увидите в сносках. За несравненно большие усилия хочу сказать огромное спасибо Е. Бируковой, П. Вейнбергу, М. Зенкевичу, П. Каншину, М. Кузмину, Б. Лейтину, М. Лозинскому, М. Морозову, И. Мандельштаму, Б. Пастернаку, А. Радловой, В. Рапопорту, О. Сороке, О. Холмской и Т. Щепкиной-Куперник. Без них этот гобелен был бы не таким красочным.

И если вам после этого романа захочется перечитать Шекспира, вы знаете, как и благодаря кому это можно сделать.

М. Немцов

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ХОР – рассказчик

АНТОНИО – венецианский купец

БРАБАНЦИО – венецианский сенатор, отец Дездемоны и Порции

ЯГО – солдат

РОДРИГО – благородный солдат, друг Яго

КАРМАН – шут

ПОРЦИЯ – благородная дама, младшая дочь Брабанцио, сестра Дездемоны

НЕРИССА – служанка Порции

ДЕЗДЕМОНА – благородная дама, старшая дочь Брабанцио, сестра Порции

ЭМИЛИЯ – жена Яго, служанка Дездемоны

ОТЕЛЛО – мавр, генерал венецианской службы¹

ШАЙЛОК – еврей, венецианский ростовщик, отец Джессики

ДЖЕССИКА – дочь Шайлока

¹ Пер. А. Радловой. – Здесь и далее прим. окаянного переводчика. Если не поясняется иначе.

БАССАНИО – друг Антонию, искатель руки Порции

ЛОРЕНЦО – друг Антонию, влюбленный в Джессику²

ГРАЦИАНО – молодой друг Антонию, купец

САЛАНИО – молодой друг Антонию, купец

САЛАРИНО – также молодой друг Антонию, взаимозаменяем с Саланио, вероятно рожден опечаткой

ХАРЧОК – подмастерье шута

ПИЖОН – обезьянка

КОРДЕЛИЯ – призрак. Куда ж без окаянного призрака

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Представляет собой мифическую Италию конца XIII века, где независимые города-государства торгуют и сражаются друг с другом. Венеция вот уже пятьдесят лет то и дело воюет с Генуей за владение морскими путями на Восток и в Святую Землю.

Вот уже пятьсот лет Венеция – независимая республика, управляется выборным сенатом из 480 человек, которые, в свою очередь, избирают дожа, а тот, при поддержке Малого совета из шести сенаторов, присматривает за сенатом, вооруженными силами и гражданскими чиновниками. Сенаторы, по большей части, происходят из влиятельного торгового сословия, и до недавнего времени их можно было избирать в округах из любых профессий. Однако такая система, превратившая Венецию в самую богатую и могущественную морскую державу на свете, изменилась. Не так давно привилегированные сенаторы, заинтересованные в передаче власти и богатства своей родне, проголосовали за то, чтобы свои выборные должности сделать наследуемыми.

Странное дело: хотя большинство персонажей – венецианцы, все здесь говорят по-английски и с британским выговором.

Условия тут, по большей части, – если не поясняется иначе, – можно считать влажными.

² Так Лоренцо и Бассанио обозначены в пер. И. Мандельштама.

Действие I Фатум фортунато

*Пусть ночь и ад на свет мне это чудище родят.
– Яго, «Отелло», акт I, сц. 3, пер. М. Лозинского*

ХОР:
Заклинание

Муза, восстань!
О фея темных вод,
И пьесу выведи
На свет в народ.

Муза, вспори
И гребнем, и хвостом,
Клыком и когтем
Вымысла хитон.

Муза, приди
Под трапы моряков,
И к спящим гаваням,
И к лампам рыбаков.

В Венецию! Излей
Всем блеском яд.
Перья писцов
Сказанье пусть творят

О горестях, измене и войне.
О Муза, взвой вдвойне любовью, ибо
Мы ныне заведем истории
Подлейшей Ебатории
Гнуснейшего пошиба...

Явление первое Мышеловка

Они ждали у причала, эти три венецианца. Ждали дурака.

– Через час после заката, я ему велел, – сказал сенатор, сгорбленный и седобрадый, в богатой парчовой мантии, подобающей должности. – Сам отправлял за ним гондолу.

– Вестимо, явится, – сказал солдат – широкоплечий подтянутый мужлан лет сорока, весь в коже и грубом льне, на поясе боевой кинжал и длинный меч, борода черная, а через правую бровь шрам, от которого вид у солдата был неизменно вопрошающим или подозрительным. – Считает себя знатоком вин и немало этим гордится³. Он не сможет устоять против соблазнов вашего винного погреба. А когда дело будет сделано, отпразднуем уж не только Карнавал.

– Не знаю, право, отчего грущу я⁴, – сказал купец. Это был светложкий господин с мягкими руками, в дорогой обвислой шляпе из бархата и с золотым перстнем-печаткой размеров с небольшую мышь – им он скреплял соглашения. – Бог весть, почему.

Издали, из-за Венецианской лагуны, до них доносились звуки труб, барабанов и рогов. На берегу у пьядцы Сан-Марко плясали факелы. Позади венецианцев темнело имя сена-тора – Вилла Бельмонт, – однако в верхнем окне выставили потайной фонарь – по его лучу гондольер мог править к этому уединенному островку. На воде рыбаки зажгли факелы, и те покачивались тусклыми пьяными звездами на чернильных волнах. Городу нужно есть даже во время Карнавала.

Сенатор возложил руку на плечо купца.

– Сим мы служим Господу и государству, облегчаем совесть и душу – это очищение открывает врата нашим намереньям. Подумайте о том щедром изобилие, что отыщет вас, едва крысу уберут из амбара.

– А мне его обезьянка нравится, – сказал купец.

Солдат ослабил и почесал в бороде, скрывая веселость.

– Позаботились, что он один прибудет?

– Таково было условие приглашенья, – ответил сенатор. – Я сказал ему, что из доброго христианского милосердия всю челядь следует отпустить на Карнавал, и заверил, что свою уже отпустил.

– Дальновидно, – сказал солдат, озирая громадную неосвещенную виллу. – Стало быть, он ничего не заподозрит, когда не увидит никакой дворни.

– Но ловить обезьянок бывает до ужаса трудно, – произнес купец.

– Вы б оставили уже обезьянку в покое, – рявкнул солдат.

– Я ему сказал, что дочь моя очень боится обезьянок – даже в одной комнате с ними находиться не может.

– Тут-то ее нет, – сказал купец.

– Дураку сие не ведомо, – отозвался солдат. – А наш бравый Монтрезор свою младшую дочь приманкой готов насадить, хоть старшую у него черная гринда с самого крюка увела.

– Потеря сенатора саднит и без ваших острот, – сказал купец. – Мы разве не одно дело делаем? Ваш юмор слишком ядовит, а вовсе не умен. Лишь груб и жесток.

³ Парафраз строки из рассказа Эдгара По «Бочонок амонтильядо», пер. О. Холмской.

⁴ Реплика Антонио, «Венецианский купец», акт I, сц. 1, пер. И. Мандельштама.

– Но, милый Антонио, – отвечивал солдат, – я и умен, и груб, и жесток. Сплошь преимущества для вашего предприятия. Или вы предпочтете дружество с любезным лезвием меча поучтивее? – Он возложил ладонь на рукоять.

Купец перевел взгляд на воду.

– Так я и думал, – сказал солдат.

– Сделайте лица полубезней, оба. – Сенатор шагнул меж них и взгляделся в ночь. – Лодка дурака появилась. Вон!

Среди рыбацких лодок плыл яркий фонарь – и вот уже медленно вышел из общего строя. Гондола приближалась. Мгновенье спустя она уже скользнула к причалу: гондольер так точно орудовал веслом, что черный корпус лодки замер своими поручнями лишь в ширине ладони от настила. Щелкнула заслонка, и из каюты шагнул жилистый человечек – он был одет арлекином, трико в черных и серебристых ромбах, на голове остроконечный колпак с бубенчиками⁵. Лицо его скрывала полумаска. С первого взгляда можно было бы решить, что это мальчик, однако громадный гульфик и щетина на щеках выдавали годы.

– Всего один фонарь? – спросил арлекин, соскакивая на помост. – Не могли, что ли, факел-другой выделить, Брабанцио? Тут темень, как в мошонке самой ночи. – Он юркнул мимо купца и солдата. – Лизоблюды, – кивнул им он. И тут же нацелился по дорожке к вилле, на ходу помахивая шутовским жезлом с кукольной головой. Сенатор заковылял следом, держа фонарь повыше.

– Ночь благоприятна, Фортунато, – произнес сенатор. – И челядь я услад до темноты, поэтому...

– Зовите меня Карман, – сказал дурак. – Только дож меня зовет *Фортунато*. Поди пойми, не для всех ли у него эта кличка, уж больно дьявольски нечист он в картах.

У причала солдат вновь возложил ладонь на рукоять меча.

– Всеми святыми клянусь, хоть сейчас готов вогнать ему лезвие в печенку – и поднять его тушку на клинке в придачу, лишь бы поглядеть, как он дрыгается, а эта наглая ухмылка вянет на его устах. Ох, как же я ненавижу дурака.

Купец улыбнулся и, удерживая руку солдата, а подбородком поведя в сторону гондольера, стоявшего в своей лодке, процедил сквозь зубы:

– Как и я. В сей пантомиме, что мы разыгрываем в честь Карнавала, он наш клоун-насмешник. Ха! Панчинелло в нашем маленьком кукольном представлении, все смеху ради, разве нет?

Солдат глянул на лодочника и натянул на лицо улыбку.

– Вполне. В добром расположенье духа. Я свою роль играю слишком хорошо. Минуточку, синьор. Я получу распоряженье насчет вас. – Он повернулся и крикнул вслед уходившим по дорожке: – Монтрезор! Гондольер?

– Уплатите ему и отправьте восвояси, пусть веселится и вернется в полночь.

– Слыхали сами, – сказал солдат. – Ступайте праздновать, но не слишком, а то рулить не сможете. Я нынче буду спать в своей постели. Уплатите ему, Антонио. – Солдат повернулся и тоже зашагал вверх по склону.

– Я? Почему всегда я? – Купец сунул руку в кошель. – Ну что ж, ладно. – Он швырнул монету гондольеру, тот поймал ее в воздухе и благодарно склонил голову. – Стало быть, в полночь.

– В полночь, синьор, – подтвердил гондольер и крутнул веслом. Гондола безмолвно и гладко скользнула прочь от причала, как нож в ночи.

У парадного входа в палаццо дурак помедлил.

⁵ Парафраз строки из рассказа Эдгара По «Бочонок амонтильядо», пер. О. Холмской.

– Что это у вас над дверью, Монтрезор? – В тених таился гербовый щит, инкрустированный в мраморе. Сенатор воздел повыше фонарь, осветив герб – барельеф, на котором золотая человечья нога попирала нефритового аспиды, а клыки последнего меж тем впились в пята.

– Мой семейный герб, – ответил сенатор.

– Надо думать, у них в гербовой мастерской настоящие драконы и львы закончились, раз вам пришлось удовольствоваться этой херней, а?

– Сдается мне, могли б и королевскую лилию до кучи присунуть, – молвил шутовской жезл голосом на тон выше собственно шутовского. – Монтрезор, блядь, француз же, не?

Сенатор молниеносно развернулся к кукле.

– «Монтрезор» есть титул, дарованный мне дожем. Он означает «мое сокровище» и призван обозначать, что дож ценит меня превыше прочих сенаторов в Малом совете. Это герб рода Брабанцио, старинного и плодovitого⁶, мое семейство носит его с честью уже четыре сотни лет. Особо отметьте девиз, шут, – «*Nemo me impune lacessit*». – Читая его сквозь зубы, при каждом слоге он покачивал в такт фонарем. – Это означает: «Никто не оскорбит меня безнаказанно».

– Так это не, блядь, французский, – произнесла кукла на жезле, повернувшись к шуту.

– Нет, – подтвердил тот. – Кукан у меня довольно бегло изъясняется на, блядь, французском, – пояснил он сенатору.

– А Монтрезор – француз, правильно?

– Лягушатник, как летом на Сене, – кивнул шут.

– Так и думал, – ответствовала кукла.

– Хватит болтать с этой деревяшкой! – рявкнул сенатор.

– Сами же на него орете, – сказал шут.

– А теперь ору на вас! Вы *сами* дергаете рот этой кукле и за нее говорите.

– Не может быть! – сказала кукла, отвесив деревянную челюсть и воззрившись на шута, потом на сенатора, потом опять на шута. – Этот ятый обалдуй тут всем заправляет?

Шут развязно кивнул, бубенчики его зазвенели⁷.

Кукла поворотилась к сенатору:

– Ну, если ты тут свинские рожи корчить будешь, так знай – твой клятый девиз потырен.

– Что? – сказал сенатор.

– Плагиат, – пояснил шут, серьезно кивая: вылитый гонец, принесший скверное известие.

Солдат и купец догнали их и увидели, что их хозяин разъярен не на шутку, а потому остановились у лестницы, наблюдая. Рука солдата вновь потянулась к мечу.

– Это ж шотландский девиз, не? – сказала кукла. – Орден Чертова Пыха.

– Недурно, – сказал шут⁸. – Хотя на самом деле – чертополоха, а не «чертова пыха», Кукан, дундуля ты кокнийская⁹.

– А я что сказал, – рек ему в ответ Кукан. – Отзынь.

Шут злобно посмотрел на куклу и повернулся к сенатору.

– Тот же девиз начертан над входом в Эдинбургский замок.

– Должно быть, вы что-то не то запомнили. *Это* – на латыни.

⁶ Парафраз реплики Монтрезора, «Бочонок амонтильядо», пер. О. Холмской.

⁷ Там же, пер. О. Холмской.

⁸ Парафраз, там же.

⁹ Древнейший и благороднейший орден Чертополоха – шотландский рыцарский орден, в современном виде учрежден Яковом VII в 1687 г., хотя легенда гласит, что впервые учредил его король скоттов Ахей в 787 г.

– И впрямь, – сказал шут. – А меня вырастили монахини практически в лоне церкви. На латыни и греческом я разговаривал, еще когда ходил пешком под стол. Нет, Монтрезор, ваш девиз не стал бы более скотским, даже будь он написан синькой и воняй горящим торфом и вашей рыжей сестрой.

– Краден, – сказала кукла. – Умыкнут. Стащен. Подрезан, как, блядь, есть. Девиз крайне гоняемый в хвост и в гриву, измаранный и осрамленный.

– Осрамленный? – уточнил шут. – Правда?

Кукла рьяно закивала на конце своей палки. Шут пожал сенатору плечами.

– Натурально говенный герб и крайне осрамленный девиз, Монтрезор. Будем надеяться, тот амонтильядо, что вы мне сулили, утешит нас в сем разочарованье.

Купец сделал шаг и возложил руку на плечо шута.

– Так не будемте ж больше тратить времени в этой невыносимой сырости. В сенаторовы погреба – и к его бочонку амонтильядо.

– Да, – кивнул сенатор. Он шагнул в просторную залу при входе, снял с кренцы тонкие свечи, зажег их от своего фонаря и вручил каждому гостю. – Смотрите под ноги, – сказал он. – Спускаться будем по древней лестнице в нижайшие пределы палаццо. Некоторые своды там крайне низки, так что, Антонио и Яго, берегите головы.

– Он только что осрамил наш рост? – осведомилась кукла.

– Поди знай, – ответил шут. – Я не вполне уверен, что значит слово «осрамленный». А с тобой соглашался лишь потому, что решил, будто ты знаешь, что говоришь.

– Ша, блоха, – рыкнул солдат.

– Вот это и есть осрамление, – сказала кукла.

– А, раз так – да. – Шут поднял свечу повыше, осветив толстый слой плесени на низком потолке. – Так что, Монтрезор, милая Порция ждет ли нас внизу во тьме?

– Боюсь, моя младшая дочь к нам не присоединится. Она отправилась во Флоренцию покупать себе туфельки.

Компания вступила в более поместительное подземелье¹⁰: по одну сторону в стены там были вмурованы бочонки, по другую тянулись стойки с пыльными бутылками. Посередине стояли длинный дубовый стол и стулья с высокими спинками. Сенатор зажег лампы, и все помещение залил теплый свет, скрывший собою сырость, пропитавшую все вокруг.

– Ну и ладно, – сказал шут. – Она бы все равно только ныла – сыро-де, Яго смердит кальмаром, так и не выпьешь-то по-настоящему...

– Что? – сказал солдат.

Шут подался к Антонио и вскинул брови так, что они всплыли над его черной маской арлекина.

– Не поймите меня неверно, Порция, спору нет, – соблазнительная ебабельная плюшка, но колюча она, что позолоченный ежик, если выходит не по ее.

Сенатор поднял взгляд, в котором полыхал огонь смертоубийства, после чего вновь опустил очи долу и содрогнулся – едва ль, можно было решить, не с наслаждением.

– Я не смержу кальмаром, – сказал солдат, словно его на миг одолела застенчивость. Он принялся к плечу своего плаща и, не обнаружив на нем кальмарного смердежа, все внимание свое обратил снова на сенатора.

– Если соблаговолите нацедить нам амонтильядо, Яго, – произнес тот, – мы будем вполне готовы узнать мнение о нем сего выдающегося знатока.

– Я ни разу не называл себя знатоком, Монтрезор. Я просто сказал, что как-то раз его пил, и это шавкины бейцы.

– Песьи ятра, – уточнила в порядке разъяснения кукла.

¹⁰ Парафраз, там же.

– Это когда вы были испанским королем, верно? – спросил купец с ухмылкой, саркастически поведя глазом сенатору.

– Я носил разные титулы, – ответил шут. – И только «дурак», похоже, прилип.

Солдат зажал под мышкой тяжелый бочонок, словно душил быкошеего противника, и налил янтарной жидкости в графин из тонкого муранского стекла.

Сенатор произнес:

– Виноторговцу должны еще бочонков доставить из Испании. Если вы признаете вино подлинным, я скуплю и остальные, а один отправлю вам в благодарность.

– Отведайте ж, – сказал шут. – Хотя если его разливает не умеренно развратная оливокожая дева-прислужница, подлинным его можно счесть едва ли. Полагаю, впрочем, что и Яго сгодится.

– Ему не впервые играть эту роль, готов спорить, – подал голос Кукан. – Одинокие ночи на поле боя, что не.

Солдат ухмыльнулся, водрузил бочонок на стол и по кивку сенатора разлил херес по четырем тяжелым стеклянным кубкам с оловянными ножками, отлитыми в виде крылатых львов.

– За республику, – провозгласил сенатор, поднимая свой.

– За Успенье, – сказал купец. – За Карнавал!

– За Венецию, – произнес солдат.

– За Дездемону в дезабилье, – сказал шут.

Купец едва не поперхнулся, взглянув на сенатора, который спокойно выпил и опустил кубок на стол. Взгляда от шута при этом он не отрывал.

– Ну?

Шут поплескал вино между щек, завел глаза к потолку в раздумье, после чего проглотил жидкость, словно вынужден был тяпнуть особенно мерзкого снадобья. Передернулся и поглядел на сенатора из-за края кубка.

– Не уверен, – произнес он.

– Так сядьте ж, отведайте еще, – сказал купец. – Иногда первый глоток лишь смывает пыль дня с нёба мужчины.

Шут сел, остальные тоже. Все выпили еще. Брякнули о стол кубки. Троица воззрилась на шута.

– Ну? – спросил Яго.

– Монрезор, вас отымели, – сказал шут. – Это не амонтильядо.

– Не оно? – переспросил сенатор.

– По мне, так вкус что надо, – сказал купец.

– Нет, не амонтильядо, – кивнул шут. – И по лицу вашему я вижу, что вы не удивлены и вовсе не разочарованы. Посему, пока мы приканчиваем этого самозванца, – а он несколько отдает смолой, коли хотите знать мое мнение, – не обратитесь ль нам к вашему темному замыслу?¹¹ Зачем мы здесь на самом деле? – Шут допил, оперся на стол и жеманно повел глазами, не спуская их с сенатора, словно подросток-кокетка. – Приступим?

Солдат и купец посмотрели на сенатора. Тот улыбнулся.

– Наш темный замысел? – переспросил он.

– Отдает смолой? – переспросил купец.

– А по-моему, ничего так, – произнес солдат, глядя в свой кубок.

– Вы меня за дурака держите? – продолжал дурак. – Не трудитесь отвечать. Я в смысле – вы меня совсем дураком считаете? Тоже неважно сформулировано. – Он глянул на свою руку и, похоже, немало удивился, обнаружив, что она приделана к его запястью. После чего

¹¹ Уильям Шекспир, «Король Лир», акт I, сц. 1.

перевел взгляд на сенатора. – Вы меня сюда заманили, дабы убедить склонить к вам дожа, поддержать еще одну священную войну.

– Нет, – ответил сенатор.

– Нет? Вам не хочется клятой войны?

– Ну, то есть да, – промолвил солдат. – Но заманили мы вас сюда не поэтому.

– Стало быть, вы желаете, чтоб я просил за вас моего друга Отелло, дабы он поддержал вас в Крестовом походе, на котором вы все сможете нажиться. Я так и знал, когда получил это приглашение.

– Об этом я не подумал, – сказал сенатор. – Еще хересу?

Шут поправил на голове колпак с бубенцами, и когда те зазвякали, вперился взглядом в один так увлеченно, что едва не сверзился со стула.

Антонио укрепил шута на сиденье и в поддержку похлопал его на спине.

Шут отпрянул от его руки и уставился на купца – но не в глаза ему, а куда-то вокруг глаз, словно бы те были окнами темного дома, а он в нем искал кого-то, хотя тот прятался.

– Значит, вам не надо, чтоб я дергал за свои ниточки во Франции и Англии, дабы те поддержали войну?

Купец покачал головой и улыбнулся.

– Ох, едрить, стало быть – просто месть?

Антонио и Яго кивнули.

Шут посмотрел на сенатора – похоже, ему трудно было сосредоточиться на седой бороде.

– Всем известно, что я здесь. Многие видели, как я садился в гондолу.

– Все и увидят, как шут возвращается, – ответил сенатор.

– Я фаворит дожа, – с трудом выговорил шут. – Он меня обож-жает.

– В *этом*-то и загвоздка, – сказал сенатор.

Одним рывком шут вскочил со стула и прыгнул на середину стола, достал одной рукой себя до копчика и выхватил откуда-то мерзко заостренный метательный кинжал. Блеснув в руке, тот приковал к себе его взгляд. Шут покачнулся и тряхнул головой, чтобы пелена перед глазами рассеялась.

– Яд? – с некоторой тоской в голосе осведомился он. – Ох, ебать мои носки. О, я убит...¹²

Глаза его закатились, колени подогнулись, и он рухнул ниц на стол с грохотом, а кинжал его лязгнул на каменных плитах пола.

Троица пялилась на простертого Фортунато и друг на друга.

Солдат пощупал шуту шею. Пульс был.

– Живой, но я могу это исправить. – Он потянулся к боевому кинжалу.

– Нет, – сказал сенатор. – Помогите мне избавить его от одежды и оттащите его поглубже в подвал. Потом можете идти. В последний раз вы его видели живым, а потому душой своей вольны клясться, что больше ничего не знаете.

Купец Антонио вздохнул.

– Так грустно, что нужно дурачка убить. Он хоть и дико раздражал, однако ж приносил смех и радость всем вокруг. Вместе с тем, если можно заработать дукат, дукат заработать нужно. Коль выгода цветет, купцу пристало ее срывать.

– Долг пред Богом, выгодой и республикой! – провозгласил сенатор.

– Уж много дурней отыскивали свой конец в попытках передуть ветра войны, – молвил Яго. – И этот туда же.

¹² Реплика первого слуги, «Король Лир», акт III, сц. 7, пер. М. Кузмина.

Явление второе Тьма

– Вы чего делаете? – спросил я.

– Замуровываю вас в сем подземелье, – ответил сенатор, съежившийся под низкой аркой входа в нишу, где я был прикован к стене.

– А вот и нет, – сказал я.

Вообще-то он, похоже, меня замуровывал, но я не намеревался делать ему такую уступку лишь потому, что был в цепях, наг, а у моих ног поднималась вода. Главное, предусмотрительно считал я, не вселять в моего противника уверенность.

– А вот и да, – ответил он. – Один камень за другим. С детства кладкой не занимался, но навык возвращается. Мне было лет десять, когда я помогал каменщику, строившему дом моему отцу. Не этот, разумеется. Этот у моей семьи уже несколько столетий. Сейчас мне кажется, что я больше мешал ему, чем помогал, но, увы, кое-чего я тогда нахватался.

– Ну, больше, чем сейчас, вы вряд ли когда-либо умели раздражать, так что не отвлекайтесь.

Сенатор сунул лопатку в ведро известкового раствора с таким воодушевлением, точно протыкал ею мне печеньку. После чего поднял повыше фонарь, и моя келья осветилась. Проем он заложил уже до высоты моих колен. При свете я разглядел, что нахожусь в проходе едва ли двух ярдов шириной – он отлого спускался к темной воде, которая уже плескалась вокруг моих лодыжек. На стене проступали отметины высокой воды – где-то на уровне моей груди.

– Вам известно, что вы здесь умрете, Фортунато?

– Карман, – поправил его я. – Вы спятили, Брабанцио. У вас помешательство, паранойя и мания раздражающего величия.

– Умрете. Один. Во тьме. – Он пристукнул по камню рукоятью своей лопатки.

– Вероятно, еще и старческий маразм. С жертвами кровосмешения или сифилиса это случается рано.

– Крабы даже не станут дожидаться, когда вы прекратите дергаться, – очистят ваши косточки сразу.

– Ха! – ответствовал я.

– Это в каком это смысле – «ха!»? – спросил Брабанцио.

– Вы сыграли мне на руку!

И я пожал плечами, как мог, дабы указать ему на сычоблюйскую очевидность его промашки. (Пожатые плечами составляло весь мой репертуар жестов, поскольку руки мои над головой были скованы цепью, пропущенной через тяжелое кольцо в стене. Висеть я не висел, но и сесть не очень мог. Если б я натянул цепь с обеих сторон от кольца, точно рассчитав точку равновесия, наверное, смог бы похлопать в ладоши. Вот только аплодировать было особо нечему.)

Сенатор хмыкнул и продолжал накладывать слой раствора для следующего ряда камней.

– Вы под уровнем лагуны. Я б мог запытать вас до смерти, и никто б не услышал ваших криков. Но я предпочитаю отправиться в постель и сладко заснуть под покровом грез о том, как вы тут в темноте страдаете, медленно умирая.

– Ха! Вот видите. Я думал, что уже умер, когда выпил вашей отравы, поэтому, как ни вертите, вам, по-моему, уже не отыгаться.

– Никто вас не травил. Вы отведали зелья из далекого Катая – его привезли сюда по суше, не считаясь с затратами. Оно уже было у вас в кубке. – Он сунул руку себе куда-то под мантию и извлек наружу крохотную шкатулку, покрытую красным лаком.

– Не травили? – переспросил я. – Жаль. Я уже было наслаждался воскрешением. Надеюсь вернуться ростом повыше, но, с другой стороны, и рост, и эдакая грубоватая мужская красота – все равно что лилию золотить, нет?

– Хотите, поспорим, сколько вы тут протянете? Два-три дня, быть может? А, ну да – вы не в положении спорить, верно? У вас ничего нет.

– Это правда, – отозвался я. – Однако же в том, что для всех нас – простая правда, вы зрите свою победу, не так ли? У нас ничего нет, и сами мы ничто. – Сказать правду, я был ничем и ничего не чувствовал, кроме скорби и тоски, с тех пор, как три месяца назад до меня дошло известие: моя милая Корделия скончалась от лихорадки. Смерти я не боялся, боли тоже. Бойся я – ни за что б не поперся в палаццо к Брабанцио. В тот последний миг, сочтя, что меня отравили, я ощутил облегченье.

– Ну, вы и *есть* ничто. Жаль, что вы этого не сообразили перед тем, как погубить мою дочь.

– Порцию? О, да ничего она не погублена. Может, поболит у нее чуть-чуть... ну, походит день-другой без изящества от ковровых ожогов – но она отнюдь не погублена. Считайте ее просто с толком попользованной.

Брабанцио зарычал, а затем его красная рожа задергалась в незаложенном проеме, как у полоумного грязеда. (Мне уж почудилось, что от усилий у него на старческом лбу вена лопнет.) Похоже, никакого внятного ответа он сформулировать не мог – лишь пар да слюни, – и я принял это за суфлерскую подсказку продолжать:

– Как новую пару сапог. – Зелье Брабанцио не на шутку развязало мне язык. – Вот новые сапоги, знаете, – по воде в них походите, и пусть сначала в них чвакает и плюхает какое-то время, зато потом высохнут и станут точно по ноге. Лепятся, если можно так выразиться, опытом – и принимать потом будут вас и только вас. После чего их можно загигать над стулом и бурно иметь в попу.

– Нет! – рявкнул сенатор – и метнул в меня кирпич, который запросто снес бы мне коленку, не успей я подтянуться на цепях. Кирпич отскочил от стены и плюхнулся в воду где-то в темноте.

– Метафора растянутого сапога – от нее у вас, значит, шарики за бебики заскакивают? – осведомился я, легкомысленно аккомпанируя себе веселым перезвоном цепей. – Теперь вам кирпича не хватит, знаете? Испоганили все свое ятое ваянье толикой литературной вольности, чувствительный вы старый мудеглот.

– Погублена моя старшая, Дездемона, – сказал сенатор, подчеркнув довод помещением камня на возводимую стенку.

– А, ну это да, только тут нет моей заслуги, – ответил я. И насчет младшей его я, разумеется, врал. Я ни разу даже наедине с Порцией в одной комнате не оставался. – Нет, паденье Дездемоны – дело рук Отелло.

Еще один кирпич лег в стену к своим красным собратьям. Над ними теперь виднелось только сенаторово лицо.

– А если б не ваше вмешательство, его бы с нами уже не было – ну, или его бы приговорили, будь на то моя воля. Но нет – вы влезли в ухо дожу, как комар, кинулись защищать этого своего драгоценного мавра, рассказывали, чем Венеция ему обязана, целые рапсодии сочиняли, что он-де герой благородный, а не чумазный раб, возгордившийся не по чину.

– Благородство и мужество – свойства, чуждые вам, они вас пугают, мандоклоп вы обоссанный. – Сенатор раним касаясь собственного благородного происхождения либо его отсутствия. Венеция была единственным городом-государством в Италии – бери выше, на

континенте, – где не существовало знатных землевладельцев. Преимущественно потому, что здесь не было земли как таковой. Венеция – республика, все власти надлежащим манером избираются, вот это-то его и терзало. Лишь за несколько последних месяцев он сумел убедить дожа и совет разрешить передачу мест в сенате по наследству. А поскольку сыновей у Брабанцио не было, его место достанется мужу его старшей дочери. Вот именно – мавру. – Говоря по всей строгости, он вообще-то ее не погубил. То есть, она замужем за генералом, который однажды станет сенатором Венеции, поэтому, честно сказать, она тем самым делает шаг вверх от своей родословной. Которая, мне кажется, вы не можете не согласиться, заурядна, как кошачья моча.

Он зарычал в ответ и метнул в отверстие еще один кирпич. Этот попал мне в бедро – оказалось, не так больно, как должно бы. Поразмыслив, я пришел к выводу, что судьба моя могла бы меня беспокоить и посильнее. Вероятно, у меня головокружение от восточного порошка.

– Синяк останется, Монтрезор.

– Будь ты проклят, дурак. Я заткну тебе рот. – Он вернулся к своей кладке с такой яростью, что аж задыхался. Вскоре у него остался последний кирпич, а у меня – лишь маленький прямоугольник желтого света. – Моли о пощаде, дурак, – сказал сенатор.

– Вот еще.

– Утопиться ты не сможешь, я об этом позаботился. Будешь страдать, как заставлял страдать меня.

– А мне какое дело. Ни до чего мне его нет. Заканчивайте свое ятое дело уже да валите отсюда. Вы меня утомили своим скулежом. Отдайте мне мое забвенье, чтоб слиться мог я сердцем, любовью своей, с моей королевой. – Я склонил голову, закрыл глаза и стал ждать прихода тьмы и тех грез, что с нею явятся. Вероятно, мне не пришлось в голову, что я могу томиться и быть мертвым одновременно.

– Твоя королева не от лихорадки загнулась, дурак, – произнес Брабанцио, ныне – всего лишь шепот во тьме.

– Что?

– Яд, Фортунато. Составленный лучшим провизором Рима так, чтобы походило на лихорадку, неспешную и смертельную. Даден был вскоре после того, как ты прибыл сюда с посольством и доложил о том, что королева твоя сильно недовольна нашим Крестовым походом. Его отправили в Нормандию на одном судне Антонио, а подсыпал его лазутчик, которого Яго завербовал в ее охране. Может, у нас и нет благородных землевладельцев, но кто правит морями – правит торговлей, а кто правит торговлей – правит миром.

– Не может быть, – произнес я. Правда этого известия прожгла насквозь дымку снадобья, и скорбь опалила огнем всю мою душу. Ненависть пробудила меня. – Нет, Монтрезор!

– Еще как да. Ступай к своей королеве, Фортунато, и когда вы с нею свидитесь, передай, что прикончили ее твои слова. – Он поскреб лопаткой в отверстии, затем пристроил последний кирпич и пристукнул по нему, чтобы встал на место поровнее. Келья погрузилась во тьму, вода плескалась уже у моих колен.

– Ради всего святого, Монтрезор!¹³ Ради всего святого!

Но стук стих, и последнее мое воззвание к совести сенатора потонуло в его хохоте. Затем и тот рассеялся и пропал совсем.

¹³ Пер. О. Холмской.

Явление третье Вот незадача

Вот же незадача, а? Замурован, закован в одиноком холоде, без света, морская вода мне уже до ребер, тишина, лишь сам соплю в ней да где-то над головой что-то неумолчно капает. Затем, из-за новой стены – какой-то шорох. Вероятно, Брабанцио собирает инструменты.

– Брабанцио, вероломный ты хорек-дрочила с душою, черною, как уголь! – произнес я.

Гогот ли донесся из-за стены – или то умирающее эхо моего собственного голоса? Проход этот должен так или иначе открываться в лагуну, но даже отдаленного плеска волн я не слышал. Тьма была до того непроницаема, что перед глазами у меня плясали только призраки, населяющие изнанку век, будто масло на черной воде. «Щелочки в душе», как называла их, бывало, матушка Базиль, запирая меня в буфете монастыря в Песьих Муськах, где меня растили. «В темноте да узришь ты щели в душе своей, сквозь кои сочтется нечестие, Карман». Иногда я целыми днями созерцал щели у себя в душе – до самой темноты, после чего мы мирились. Друзья все-таки.

Не так давно мне примстилось, что я могу подружиться и со Смертью – принять ее пернатое забвенье в свои мягкие объятия. Смерть моей милой Корделии очистила меня от страха, себялюбия и – после не одной недели питания – от злости и власти над большинством моих телесных жидкостей. Но вот я пробудился и от гнева, и от горя: к смерти мою королеву могли привести мои же действия.

– Жалкий ты столп ебли фазана-сифилитика! – произнес я на случай, если Монтрезор вдруг по-прежнему подслушивает.

По крайней мере, вода теплая: август, лагуна накопила в себе летнее тепло. Но я все равно дрожал. Капли холодной воды долбились мне в левую ладонь с размеренностью тикающих часов, а едва я об этом подумал – принялись жалить прямо-таки иглами льда. Я обнаружил, что, если стоять ровно, всем весом своим опираясь на ноги, руки можно класть на небольшой кирпичный карниз, тянувшийся по стене на уровне моих плеч, где стена переходила в округлый свод потолка. В такой позе можно было немного разгрузить прикованные руки, к тому же холодные капли безобидно плюхались тогда на мои оковы. Но стоило мне расслабиться, перенести вес на спину, опиравшуюся о стену, и обмякнуть руками в оковах на манер молящегося святого, капель вновь начинала меня изводить, как колючая морозная феечка, – она долбила мне в суставы и будила меня, когда я задремывал. Тогда еще я не знал, что жестокий этот дух владеет ключом от самой моей жизни.

Но задремать – через какое-то время – мне все же удалось: я висел в теплой морской воде, и грезы омывали меня – и приятные, и кошмарные. Когти прожорливого чудища вырывали меня из объятий любимой моей Корделии, я просыпался, едва переводя дух, в темной келье, желая, чтобы все это случилось взаправду, с облегчением от того, что это, однако, неправда, – пока бремя тьмы не обрушивалось на меня снова.

– Карман, – говорила мне она, – я, наверное, отправлю тебя в Венецию, передашь им, что я думаю насчет этого их Крестового похода.

– Но, бьяша моя, они и так знают, что ты по этому поводу думаешь. Ты им отправила целый тюк писем, королевская печать, Королевы Британии, Уэльса, Нормандии, Шотландии, Испании – мы, кстати, по-прежнему правим Испанией?

– Нет, и *мы* ничем таким не правим. Правлю я.

– Я употребил королевское «мы», разве нет, любовь моя? Толика старого-доброго множественного, блядь, числа мы-с-Господом-Богом-у-нас-в-кармане, которой вы, королевские кровя, пользуетесь там, где довольно будет и единственной громадной манды. – Я склонил голову набок и ухмыльнулся, звякнул бубенцом на колпаке манером самым чарующим.

– Вот видишь – потому-то и надо послать тебя.

– Убедить их, что ты огромная манда? Я выражался образно, любимая. Ты же знаешь, я тебя обожаю, включая – и в особенности – твои конкретные дамские части, но я уважаю ту неимоверную мандоватость, с которой ты правишь своим государством. Нет, говорю я – отправь еще фунт королевских печатей и воска с зычным «Отъебись» папе римскому, на латыни. Подпись: Королева Корделия, Британии, Франции и прочая, и прочая, а после обеда я попробую осеменить тебя наследником престола.

– Нет, – ответила она, и нежная челюсть ее закаменела.

– Ну что ж тогда, прекрасно, – сказал я. – Отправим письмо, обедом пренебрежем и сразу приступим к зачатию наследника. Я чую в себе толпу крошек-принцев – так и рвутся на свет, толкаясь, чтоб тотчас начать что-то замышлять друг против друга. – Я выпятил перед ней гульфик, являя ощутимую настоятельность тотчас завести потомство.

– Нет, именно поэтому мне следует послать туда тебя, – сказала она, пренебрегши моим красноречивым жестом, знаменующим подачу принцев насосом. – Никакое письмо, никакая депеша, никакой гонец даже приблизительно не смогут им досадить так, как ты. Лишь ты способен пристыдить их за то, как бездарно они просрали последний Крестовый поход. Только ты, дорогой мой дурачок, сумеешь до них донести, до чего нелепым – и дьявольски неудобным – я полагаю их призыв к оружию.

– *Moi?* – рек я на идеальном, блядь, французском.

– *Toi, mon amour,* – ответствовала она дразнящим языком лягушек. Затем легонько поцеловала меня в лоб и протанцевала по всей королевской опочивальне к тяжелому столу, где лежали бумага, чернила и перья. – Королевство идет в жопу. Мои верные рыцари мне нужны здесь – бряцать оружием перед теми, кто захочет отнять у меня трон. Тебе нужно будет ясно дать понять венецианцам, что у меня нет намерений вступать в новый Крестовый поход, да и ни у кого из моих земель такого намерения нет. И если мне удастся, у моих союзников его тоже не будет. Кроме того, я хочу, чтоб отправлялся ты в своем трико. Нужно, чтобы посланье от меня доставил шут.

– Но я же твой король.

– Вот и нет.

– Королевский супруг? – предположил я.

– В миг слабости, увы, я трахнула шута, – рекла в ответ она, склонив от стыда голову.

– И вышла за него же, – подсказал я.

– По-моему, не стоит на этом залипать, любимый. Езжай к ним. Передай им от меня все. Поживи в их дворцах, попей их вина, разузнай их секреты – и оставь их, смятенных, раздраженных и оскорбленных. Я знаю, только ты так умеешь.

– Но, бляха, отправлять дурака к папе...

– Ох да ебать папу!

– Мне кажется, этим уже кто-то занимается.

– Нет, о Риме тебе печься не стоит. За всем этим стоит Венеция. Генуя только что вышибла из них дерьмо девяти оттенков, им нужно денег собрать. Они считают, что священная война восстановит им военный флот и заново откроет торговые пути, которые они уступили генуэзцам, но делать они это будут отнюдь не на средства Корделии. Езжай в Венецию. И прихвати с собой Харчка и Пижона.

– Присолим землю *всем* манером, значит?

– Да. Забирай своего слюнявого простофилю и обезьянку свою, и не забудь едкое остроумье – и спусти это все на дожев двор. Они не осмелятся тебя отвергнуть. А вернешься – зачнем наследника.

– Я ваш покорный слуга, моя госпожа, – отвечивал я. – Но до обеда у нас еще час, и...

– Сей смуту и спускай штаны¹⁴ с возмутительнейшей трахомундии! – рекла королева, сбрасывая перевязь своего одеянья и переступая его. – Долой мундир, дурак!

Я так обожал, когда броня королевы-воительницы спадала с нее и она, глупо хихикая, оказывалась в моих объятьях.

* * *

За свежесложенной стеной я услышал шаги – отчетливо, – а потом кто-то с грохотом уронил ведро. Значит, и меня оттуда слышно. Не знаю, сколько я пробыл в темноте, но прилив еще не схлынул – вода мне доходила до груди. Быть может, Порция вернулась из Флоренции – или слуга спустился в погреб за вином.

– Помогите! Меня тут замуровал в темноте ятый полоумный сенатор! – А если это сам Брабанцио? Совесть загрызла, и вернулся меня освободить? Я смягчил свои рацеи. – И под полоумным я разумею психа до крайности утонченного, с великолепным вкусом и...

Не успел я доорать свою лесть, как из-за стены раздался вопль – до того жалостливый и животный, что даже в своем убогом состоянии я содрогнулся. Так звучит смертоубийство, вне всяких сомнений, так отнюдь не изящное лезвие входит между ребер. Кто-то – человек – там страдает, взывает к Господу Богу и святым, перемежая воззвания свои воем боли, проникнутым ужасом, переходящим в тихий стон, а затем – тишина. Я слышал шорох и треск, будто кто-то веточки ломает, потом – лишь неумолчный бой капли в моей темной келье.

Я не осмеливался больше звать. Не хотелось бы, чтоб на меня обращал внимание тот, кто за стеной, ибо я был уверен: никакого спасения оттуда не явится. Я так настроился на звуки с той стороны, что даже капли отвлекали – докука средь разора.

Время шло. Может, час. А может, и лишь минуты.

Потом всплеск – уже у меня в келье.

Я заорал. И подпрыгнул, подтянувшись на цепях, – что-то в воде задело мою голую ногу, живое и тяжелое, извилистое и сильное. Я перестал дышать, желая обратиться в невидимку во тьме, слиться со стеной. Ноги мне омывало подводными течениями, словно бы от чьего-то крупного хвоста или плавника. Может, слабины в цепях хватит, чтобы я перевернулся, сделал шпагат и пятками уперся в карниз? Я же акробат, я тренировался и выступал много дольше, чем был изнеженным аристократом.

Я раскинул руки, на сколько мог, и ноги мои оторвались от подводного пола – теперь я висел в позе энергично распинаемого. Ноги я завел назад, оцарапав стеной себе пятки и попу. Стопы мои уперлись в свод, я раздвинул ноги и опускал, опускал их, пока пятками не столкнулся с карнизом, который миг назад был вровень с моими плечами. Оковы впивались мне в предплечья, руки дрожали от напряжения, но я больше не был в воде – лицо мое располагалось от нее всего в нескольких дюймах. В лучшей своей форме я бы продержался в такой позе быстрый припев «Лилии пивной», но теперь лишь несколько вдохов отделяли меня от верной гибели. Я открыл глаза пошире, чтобы впивали весь свет, какой бы ни забрел случайно в эту темницу, но поймал ими лишь струйку собственного жгучего пота, стекавшего у меня по носу.

Если б только мавр дал мне утонуть в Большом канале и отсосать у собственной илистой смерти, когда я был к ней готов... меня б тут сейчас не было, я б с радостью сбросил этот бранный шум¹⁵ и ступил бы в темное забвенье. Он тогда натурально достал меня своим благородством, а теперь вот я, скорей из отчаяния в ненависти, нежели из сожалений, желал, черт возьми, сдохнуть.

¹⁴ Парафраз строки из «Юлия Цезаря», акт III, сц. 1, пер. М. Зенкевича.

¹⁵ Фраза из монолога Гамлета, «Гамлет», акт III, сц. 1, пер. М. Лозинского.

Что-то вынырнуло из воды у меня перед самым носом, я почувствовал.
– Так рви же мою голову с шеи прочь, дегтярный дьявол! Подавись!
Что б там ни было в воде – оно слизнуло каплю пота у меня с носа.

* * *

ХОР:

В Венеции наш оказался шут, ставший вдруг послом, и он, супруг королевы – принц по проникновению, так сказать, – приглашаем был в сенат и в дома знатнейшие, и там передавал он неудовольствие госпожи своей стремлением венецианцев и папы к Крестовому походу. И, согласно пожеланьям своей госпожи, с крайним презреньем к хорошим манерам острил, шутил и издевался он над хозяевами своими к вящему развлечению себя самого и немногих прочих. Так Карман из Песых Мусек снискал расположение и внимание дожа, Герцога Венецианского, главы сената, а среди всех остальных, уязвляемых его остроумьем, ворчали враги, вскипали сговоры и на голову его сыпались смертельные угрозы. (Последняя – по случаю того, что обезьянка его Пижон укусила супругу одного сенатора за сосок.)

Так и случилось, что в тот вечер, когда шут получил известие о кончине госпожи своей Корделии, Королевы Британии, Франции, Бельгии и прочая, от лихорадки, присутствовал он на балу во дворце советника сената на Большом канале и никаких утешений от венецианцев при дворе не дождался, кроме вина и безмолвного презренья. Обуянный скорбью, шут кинулся в канал в целях собственноручного утопления, но некий солдат выдернул его из воды за шиворот...

Он лежал на брусчатке долго, в луже канальной воды, рыдал – сперва громкими задышливыми всхлипами, затем началась немая дрожь, словно само дыхание порождалось болью, вынести кою он был не в силах. С трагедии лица его тянулась нить хрустальных соплей и мерцала в свете факелов, точно она одна удерживала его душу на сей грешной земле. Мавр в богатой блузе золотого шелка сидел подле шута на корточках и ничего не говорил.

Наконец в нем пискнуло дыхание – шепоток такой же слабый, как издыхающая на подоконнике муха.

– Она умерла. Любовь моя.

– Я знаю, – ответил мавр.

– Тебе неведома любовь. Посмотри на себя. Ты же солдат – крепкая штука для убийства, вся в шрамах, ты же оружие. Может, тебе доставалась блядь из пивняка либо вдова-другая побежденных, но любви ты не знал.

– Я знаю любовь, дурак. Любовь эта, быть может, и не моя, но мне она ведома.

– Врешь, – сказал шут.

Мавр посмотрел на блики от факелов, плясавшие на ряби канала, и сказал:

– Когда женщина с изумленьем смотрит на чьи-то шрамы и не видит славы выигранных битв, а проливает слезы по мукам от боли ран – тогда вот и рождается любовь. Когда жалеет она о прожитом мужчиной и развеивает былые страдания его нынешними утешеньями – тогда и пробуждается любовь. Когда крепость воина встречается с нежно предложенной лаской – тогда он и находит любовь.

Шут сказал:

– Она видит дальше симпатичной твоей наружности, прозревает темного, извращенного, сломленного зверя, в коего тебя превратили годы, – зрит распутную маленькую тварь, коя есть ты в душе, – когда она приемлет тебя не вопреки, но *благодаря* тому, что ты наглая мартышка, – вот это любовь, что ли?

– Я так не сказал...

Шут перекатился и встал на колени перед мавром, схватил его за перед блузы.

– Ты и *впрямь* что-то знаешь! Скажи мне, мавр, если ведома тебе любовь, настоящая любовь, чего ж ты не дал мне утонуть, прекратить боль? Если любовь у тебя отняли, я подержу меч, дабы ты бросился на него, и буду гладить тебя по голове, пока ты корчишься в крови своего сердца. Вот такой вот я добрый. Чего ж ты не ответишь мне подобной добротой?

– Потому что ты пьян.

– Ох да отъебись ты. Мусульмане, с этим вашим отвращением к выпивке. Сами устраиваете, блядь, бойню чуть ли не по всему, блядь, западному миру, а стоит кому поднять тост за ваше здоровье, как вы все такие благочестивые, давай молиться, выбрасывать свинину и кутать своих баб в занавески.

– Я не мусульманин.

– Ну, значит, тайный мусульманин. То же самое. Меч кривой, серьга в ухе, сам черный, как мошонка сатаны. Что, нет?

– Завтра, когда протрезвеешь и пойло выветрится у тебя из головы, если все равно пожелаешь утопиться, я самолично привяжу тебе к лодыжке камень и брошу в канал.

– Ты поможешь в этом несчастному дураку с разбитым сердцем?

– Помогу еще как, но не сегодня. Сегодня я доставлю тебя домой живым и здоровым, малыш.

Мавр сгреб шута в охапку, как ребенка, и закинул себе на плечо.

– И не вздумай меня обворовать, мавр. Денег у меня не осталось. Так, чтобы очень, то есть. Мне придется жить милостями дожа, а они, я опасаюсь, на исходе.

– Я знаю.

– И ты мною не воспользуешься. Я не из вашей солдатни – те готовы приходить все, что движется, лишь бы скучно между боями не было. Не то чтоб я тебя в этом винил, сам-то я *годен* – я вообще-то хоть куда приз. Какое-то время королем служил.

– Будь слова богатством, – вздохнул мавр, – ты стал бы царем среди царей, пока же ты лишь мелкий, мокрый и громкий.

– Это правда, я пьян, и мелок, и мокр, но влажность мою не принимай за слабость, хоть и об этом можно бы поспорить. Я, знаешь ли, вооружен, – произнес шут, елозя на плече и стараясь заглянуть оттуда в лицо своему похитителю. – Не рассчитывай, что примешься за дело, едва мы отойдем подальше от дворца. У меня на копчике три кинжала.

– Лишь солдатам гвардии дожа в Венеции дозволяется носить оружие, – сказал мавр.

– Я вне закона, – ответил шут.

– Боюсь, что и я, – сказал мавр.

– А что ты имел в виду – дескать, знаешь любовь, но она не твоя?

– Это я завтра тебе расскажу, когда приду смотреть, как ты топишься.

– Завтра, – произнес шут. – За мостом – направо.

Мавр прошагал по ступеням Риальто, на которых даже поздно вечером толклись купцы, бродячие торговцы и бляди.

ХОР:

Так и сложилась у них дружба. Два изгоя на дворцовых задворках среди ночи обрели в своих невзгодах братство, и так вот трудности одного стали стремленьем другого.

– Это кто? – спросил шут.

– Я его не знаю, – ответил мавр. – Идет за нами?

– Нет, орет что-то очевидное никому в особенности. Псих, несомненно.

– Его я уже понести не смогу, – сказал Отелло.

Явление четвертое Сколько за обезьянку?

Яго высился столпом кожи и стали среди шелков и роскошной парчи купцов Риальто. Те колыхались, как актинии в приливе, – торговались, собачились, лгали вежливо и безудержно, выуживали выгоду из потока товаров и услуг, текшего повсюду. На Риальто можно было купить что угодно – от граната до судоходного контракта. Среди кабинок свои столики установили нотариусы – записывать сделки, – а над ними с балконов трясли дойками с нарумяненными сосками бляди.

Яго стоял, возложив длань на рукоять меча, а вокруг бурлила торговля; кто-нибудь из торгашей то и дело вскидывал голову – и ежился под солдатским хмурым взглядом. Немного погодя на брусчатке вокруг Яго расчистился круг – водоворот в потоке.

Одна шлюха поглядела вниз и сказала:

– Этот, должно быть, сильно воняет, раз от него все так разбегаются.

Когда из суতোлки выступил Антонио в сопровождении двух молодых хлыщей, обряженных по такой жаре слишком уж плотно, Яго не протянул ему руки.

– Вы опоздали, – сказал солдат.

– Дела, дела. Вы же не предупредили заблаговременно, – ответил Антонио. – Яго, это мои друзья, Грациано и Саларино. Пытались распотешить своею доброй веселостью мою меланхолию.

Яго кивнул каждому по очереди – оба они были и выше солдата, и крепче статью. Хорошо кормят, хорошо содержат, подумал он. Но слизи, подумал он.

– Господа, соблаговолите пиздовать отсюда.

– Прошу прощения? – не понял Грациано, аж вздрогнув, и мягкая шляпа его съехала на один глаз.

– Ненадолго, – уточнил Яго.

Антонио шагнул между ним и вьюношами.

– Послушайте-ка, Яго, господа эти...

– Дело, – прервал его солдат.

– Дела Антонио – и наши дела, – сказал Саларино.

Яго пожал плечами.

– Брабанцио мертв, – сообщил он Антонио.

– Ой, – ответил Антонио. И повернулся к друзьям: – Пиздуйте-ка вы и впрямь.

– Совсем ненадолго, – поддержал его Яго, и двое растворились в толпе, по виду – скорее радуясь освобождению, чем оскорбившись.

Антонио схватил Яго за сорочку и повлек за собой в уголок между будками торговцев пряностями.

– Брабанцио умер? Когда?

– Его перезрелый труп нашли сегодня утром. Слуги спустились в погреб на вонь. Мне донес мой верный человек на острове. Он приходит одну служанку Порции по случаю.

– Стало быть, Порция уже вернулась из Флоренции?

– Только вчера. Монтрезора не видели две недели, с самого Успения. Челядь на Вилле Бельмонт думала, он поехал к Порции во Флоренцию – ну или на Корсику, отбирать у мавра Дездемону. А нашли его в таких глубинах дворца, что вонь и до винных погребов не добивала.

– В глубоких погребах? То-то я думал, что это от него ни звука не слышно. Стало быть, он там с той ночи, с дураком.

– Все всяких сомнений.

– Считаете, дурак пришел в себя и на него набросился?

– Нет. Я отправился в Бельмонт, как только узнал, едва послав вам записку о встрече. Возле тела стояло ведро с раствором, и лопатка каменщика в нем застыла. Незадолго до смерти Монтрезор клал стену. Должно быть, давно собирался – еще до того, как посвятил нас в свой план. Сдается мне, он замуровал дурака в той глубокой келье, куда мы его втащили. И оставил его там умирать.

– А достроив стену, не выдержал и умер. Брабанцио же был *очень* стар и немощен телом, хоть и не рассудком.

– Его сожрали, – сказал Яго и улыбнулся: по лицу купца прокатилась волна ужаса.

– Крысы? – уточнил Антонио. – Если он так долго пролежал там мертвым, я бы не удивился...

– Да, они – но после того, как кто-то оторвал ему голову, отъел руки, схарчил печень и сердце.

– Значит, не крысы?

– Кости в руках его расщепились. Я как-то видел человека, чью руку вырвало якорной цепью. У Брабанцио кости выглядели так же. – Яго порывлся у себя в поясе и вытащил длинный, причудливо изогнутый черный клык, в половину своего большого пальца. – Нет, Антонио, то были не крысы. Вот что вытащили из того, что некогда было его ягодицей.

– Ему и задницу съели?

– Понадкусывали.

– И Порция все это видела?

– Челядь ее не пустила. Побоялись того, что может таиться в темноте. Я на него взглянул первым. Обернул его в мантию, пока не спустились другие. Сказал, что он споткнулся, упал и его съели крысы. Ведро и мастерок спрятал глубже в подвале. Никто не усомнится.

– Значит, вы думаете, дурак до сих пор замурован в подвале?

– Стена была цела. Вы услали прочь того здоровенного балбеса, что прислуживал дураку, не так ли?

– Послал ему поддельную записку от дурака на следующий же день. Мой подопечный Бассанио устроил дело так, что верзилу и обезьяну погрузят на судно до Марселя, и заплатил за их переезд. Считаете, это мог сделать Самородок?¹⁶

Яго огладил бороду.

– Нет, он, конечно, силен, но для того, чтоб эдак поступить с сенатором, требовалось зверство, непосильное даже для разъяренного межеумка. Даже будь он вооружен зубами и костями. То было животное.

– Значит, обезьянка?

– Да, Антонио. Сенатору оторвала башку крохотная, блядь, мартышка в шутовском трико. И печенью закусила.

– Пижон, – сказал Антонио.

– Кто?

– Обезьянку зовут Пижон.

– Да пошли вы к черту с этой обезьянкой, а? Что у вас за одержимость? Оставили бы ее себе, и дело с концом.

– Мне нужно было обставить отъезд дурака достоверно, верно? – сказал Антонио. – Никто не станет уезжать без своей обезьянки. А кроме того, я уважаемый венецианский купец. Обезьянку я себе позволить не могу, будет выглядеть легкомысленно.

¹⁶ Самородок – самородным шутлом считался человек с каким-либо физическим уродством либо аномалией: карлик, великан, даун и т. д. Верили, что Самородков коснулся Бог. – *Примеч. авт.*

– Пс-с-ст, прошу прощенья, синьор. – Один торговец пряностями выглянул из своего ларька. – Но я бы мог раздобыть вам обезьянку.

– Ох, ебать-колотить, – вздохнул Яго.

– Весьма деликатно, синьор. – Торговец перешел на заговорщический шепот. – Себе ее оставите, или только на ночь можно взять, если пожелаете. Мой человек придет за нею утром.

– Нет, – сказал Антонио. – У меня нет нужды...

– Ты сколько успел расслышать? – обратился Яго к негоцианту.

– О желании Антонио выебать обезьянку мне не известно ничего. – Физиономия торговца цвела невинностью, а в глазах сияло блаженное неведение.

– Я вовсе не... – Антонио снял обвисшую шелковую шляпу и теперь обмахивался ею – весь лоб у него вдруг вспотел.

– А помимо ебли мартышек что?

– О безголовом сенаторе – ни звука, – отвечал негоциант.

– Уплатите ему, – велел Яго.

– Я вовсе не... – начал Антонио.

– Двадцать дукатов? – Яго вскинул торговцу пряностями исшрамленной бровью.

Тот пожал плечами, словно бы давая понять, что в какой-нибудь другой земле, где у него не голодают дети, где его не пилит жена, двадцати дукатов, вероятно, и хватило бы, чтоб он забыл то, чего толком-то и не расслышал, но тут, в Венеции, сейчас, ну, синьор, человек несет расходы, сами понимаете, и...

– Или я тебя убью, – произнес Яго, уронив руку на кинжал.

– Нигде и никогда еще не было цены идеальнее двадцати дукатов, – сказал торговец.

– Уплатите ему. – Яго не спускал руки с кинжала, а взгляда – с торговца пряностями, пока Антонио рылся в кошелье и выуживал оттуда монеты.

– И если хоть слово о том, что здесь происходило, сорвется с твоих уст, право на жизнь ты потеряешь. Семья твоя – тоже.

– Почему я знаю, а вдруг вы меня все равно убьете? – спросил торговец.

– Потому что Антонио дал тебе двадцать дукатов, – ответил Яго. – А Антонио человек честный.

– Я он, – подтвердил Антонио. Он отсчитал монеты в ладонь негоцианта. – Честный человек, которого совершенно не интересуют обезьянки.

Яго приобнял Антонио и повел в другой угол рынка.

– Убить все равно, возможно, потребуется.

– Если вы его намерены убить, я б лучше сберег свои двадцать дукатов.

– Двадцать дукатов – ваш штраф за то, что вы такой дерьмовый заговорщик. Глупо было встречаться на Риальто.

– Откуда мне было знать, что вы заговорите об убийстве? Почему это я всегда платить должен?

– Деньги – ваш амулет, Антонио. А он нам может понадобиться в изобилии – покупать ту власть, что мы утратили вместе с Брабанцио. Нам нужен другой сенатор в Малом совете.

– Если б я распоряжался таким богатством, чтобы покупать сенаторов, мне бы для поддержки состояния не требовалась война. А наши замыслы не поддерживает никто из оставшихся пяти членов совета. Их всех язвит наш разгром геноуэзцами. Боюсь, дело у нас не выгорит.

– Выгорит, если удержим за собой место Брабанцио.

– Быть может, еще год назад мы б выдвинули своего кандидата на голосование, раздали бы взятки, но стоило дожу объявить о наследовании мест в сенате, как у нас не осталось ни

единого шанса. Место Брабанцио отойдет его старшему сыну, а раз сына у него нет, то мужу старшей... ох ё-ё. – Антонио вынырнул из-под руки солдата и попятился от него.

– Оно отойдет мавру, – сказал Яго. – Место Брабанцио в сенате унаследует Отелло.

Антонио огляделся, надеясь, что друзья его появятся волшебным манером из толпы и спасут его от гнева Яго, который чувствовался в закаменевшем хмуром челе солдата.

– Если желаете, можете сходить убить торговца пряностями, хоть сейчас. Я-то не очень про убийства, но из меня получится превосходный свидетель.

Яго воздел палец, и Антонио умолк.

– Если не подойдет муж первой дочери, мы должны сделать первой дочь вторую.

– Порцию?

– Вестимо, она нас знает. Она нам доверяет и поступит, как мы велим.

– Но она же не замужем, а Отелло и Дездемона сейчас вообще на Корсике. Дож наверняка их призовет.

– Отозвать своего генерала с поля боя? Это мы посмотрим. Но весть отправят с надежным офицером. Сумеете найти для Порции пристойного ухажера, чтобы стал нашим сенатором?

– Знаю я одного – упоминал вам этого молодого человека, прозваньем Бассанио, он будет в самый раз. И так уже на Порцию глаз положил. Хорош собой и послушен. А кроме того – мне должен.

– Хорошо, вот и уладьте. А я займусь Дездемоной и мавром. Все, я к дожу, затем устрою себе командировку на Корсику.

– Но откуда вам известно, что дож пошлет вас?

– Я разве не говорил вам, Антонио? Жена моя служит камеристкой у Дездемоны.

– Нет. Это вы ее туда пристроили?

– Когда мавр предпочел мне своим заместителем Микеле Кассио, мне пришлось не спускать с них дружеского взора.

– Прекрасно спланировано, Яго. А что вы будете делать на Корсике?

– Не спрашивайте, добрый мой купец, если и дальше желаете оставаться добрым и честным человеком.

– О, желаю, желаю.

– Стало быть, тогда я в сенат, с вестями, – сказал солдат.

– Пойдите, Яго.

– Ну?

– Если мой амулет – деньги, которых у вас нет, если Брабанцио предлагал власть, которой у вас тоже нет, что же вы вложите в наше предприятие, дабы оправдать треть прибылей?

– Волю, – ответил Яго.

* * *

– Ну давай, чего медлишь, говносмрадный ты карбункул! Тебя что, весь день ждать?

Если начинаешь орать на что-то в темноте, это значит, что ты, по сути, уже махнул на себя рукой, нет? Тем самым ты более-менее говоришь: «Ну что ж, я знаю, что окончательный пиздец мне настал шестью разными способами, и страшно мне до помутнения в башке, но я желаю со всем покончить как можно быстрее и безболезненней».

Однако шутовина из воды не откусила мне голову, руки у меня задрожали – и держаться дальше я больше не смог. Я испустил громогласный вопль, расслабил руки и повис на цепях, как рухнувшая марионетка, едва не вывернув себе плечи в суставах и не содрав кожу на запястьях, когда оковы мои натянулись.

Я продолжал орать, пока голос не сел окончательно, и на последнем дыханье из меня исторгался лишь какой-то животный скулеж, заполнявший собой мою келью, тьму, все углы моего воображения. Вся жизнь стянулась в миг перед укусом, ударом, ужалом неведомой твари.

Но нет.

Я висел на цепях, а вода вокруг успокаивалась, и легкие мои сочились тихим воем – то из них истекала надежда. Сейчас я умру.

Капли воды падали на карниз у моей руки и отзывали эхом, словно медленные далекие аплодисменты – то Харон у руля рукоплескал жалким стараньям своего следующего пассажира на тот свет.

Что-то – быть может, плавник – скользнуло мне по ноге, и я завопил снова, пнул эту тварь, а та обвилась вокруг моих ног, не давая мне вырваться, и стала подбираться выше, к коленям, к бедрам.

Мочевой пузырь мой не выдержал, и впервые с самого детства я взмолился:

– Боже, спаси меня, помпезный ты хуила! – (Я упоминал, что не разговариваю с Богом уже очень давно? Вежливо будет упомянуть наше взаимное презрение, не?)

Существо же, будучи медвеебически сильным, не было колюче; да и кожа не шершавая, как у акул, которых я видел на рыбном рынке у Риальто, – гладкая – даже скользкая, – и теперь она обертывалась вокруг меня, точно меня душил огромный ослизлый канат. Я начал терять сознание, рассудок мой от ужаса сонно поплыл из ума – быть может, отравы еще действовала. И я отчалил, приветствуя забвенье, а несколько шипов прокололи мне бедра, и чудище прицепилось собой к моей мужской уде.

Явление пятое Хозяйки лагуны

На роскошной Вилле Бельмонт ныне обитала Порция Брабанцио – светловолосая свежеиспеченная сиротка, с созревшими двадцатью двумя годами в персях, язычком острым, что кинжал, и красой, превозносившейся по всем островам Венеции, особенно теми синьорами, что питали надежды проникнуть ей в панталончики. Обслуживала ее камеристка Нерисса, врановласая красotka в полтора раза умнее своей госпожи и преданная, как любой друг, которого можно купить за деньги. Двоица эта была неразлучна с детства, а потому любили и ненавидели друг друга они, как родные сестры.

– Правду сказать, Нерисса, моя маленькая особа устала от этого большого мира¹⁷. – На волосах своих Порция носила золотую сетку, усеянную жемчугами, которые она пощипывала, словно благоденствующих вшей.

– Ну, покупка туфель может изматывать, особенно если свертки вам носит лишь одна служанка.

– Да не от туфель. – Порция приподняла подол платья – проверить, в новых ли она туфлях, а все путешествие и кончина батюшки, пока ее не было, оказались не напрасны. – Я глаз не могу сомкнуть после того, как мы вернулись из Флоренции. Лежу без сна, и мне кажется, я слышу, как он кричит в глубинах самого нутра виллы, мучается. А сяду на кровати – и тишина.

– Быть может, если б вы чем-то занимались днем, госпожа, – шевелили б пальцем, а то и двумя, чтобы как-то позаботиться о себе, – утомленье с приятностью овладевало б вами, и сон ваш был бы исполнен сладчайших грез.

– Танцевать? – предположила Порция. – Танцы мукам я предпочитаю, а ты, Нерисса?

– Вы говорите так, словно нужно выбирать, одно или другое, но любой господин, вращавший вас по бальной зале, может засвидетельствовать, что танцы и муки легко могут идти в ногу.

– Ох, милая Нерисса, как же мне будет не хватать твоих колкостей, когда выйду замуж, а тебя надежно определяют в монастырь оказывать добрые услуги попам и пиратам. Ну или в публичный дом, сносить нежные наскоки разных негодяев.

– Было б неплохо, однако опасаясь я, что навсегда останусь тут, в Бельмонте, – смахивать пыль и сметать паутину у госпожи из-под юбок, раз уж головоломка вашего батюшки так истинно обеспечила ваше девство.

Обе, стиснув зубы, похихикали, затем Порция метнула рукоделье свое с веранды, как пирожок, начиненный проказой, и шлепнулась на мраморный табурет у стола – ноги расставлены, локти на бедрах, рукой подпирает обеспокоенный подбородок.

– Вот херовина.

– Госпожа?

– Ты, конечно же, права, – сказала Порция. И нахмурилась трем ларцам с драгоценностями, выложенным на стол. – Сама знаю, что ты права. Ни один мужчина не станет платить выкуп да еще хреновы папашины загадки отгадывать. Три тысячи дукатов? Курам на смех.

– Ваш батюшка установил такую цену выкупа и проверку для того, чтоб вы замуж вышли выгоднее Дездемоны.

¹⁷ «Венецианский купец», акт I, сц. 2, пер. Т. Щепкиной-Куперник.

– И тем не менее Бельмонт достанется ей, мавру ее – папашино место в совете сената, а мне перепадет лишь какое-нибудь убогое поместье на суше. Что ж до моей постели, ее оттяпает себе какой-нибудь богатый старый додик, который умеет отгадывать загадки.

Нерисса обошла стол кругом, ведя рукой по всем трем ларцам – золотому, серебряному и свинцовому.

– Быть может, когда ухажеры ваши докажут, что у них есть деньги на выкуп, вы сумеете выбрать того, кто вам больше понравится, и мы ему подскажем, какой ларец правильный.

– В том-то и заковыка. Я не знаю, в каком ларце мой портрет, а с ним – и право на мою руку. На всех замках папашины восковые печати, так что проверить мы не сможем. Вероятно, мне придется выходить за первого встречного, у кого найдется три тысячи дукатов, и он подберет ключ, – или же я вручу ключ тому, к кому благоволю, а он возьмет и выберет ларец, в котором ложное сокровище. Папаша меня даже из могилы злит. Вот как, по его мысли, эдакая проверка приведет меня к лучшему, нежели тот, что женился на моей сестре, если всей игрой правит случай?

– Он полагал руководить выбором вашим самолично, в то же время вроде бы не выказывая предпочтений. Я слышала, он говорил как-то: мол, Дездемона вышла за мавра не только из любви к генералу, но и чтоб ему насолить и наперечить. Назначив выкуп за невесту, он мог бы убедиться, что ухажеры его дочери – господа со средствами, а к ларцам он бы направил того, к кому душа его благоволит, к нужному, и при этом бы не возбудил в вас бунтарского духа.

– Прекрасный, наверное, план, будь папаша жив. Я бы, по крайней мере, выбор его развернула в нужную сторону.

– Стряпчие все это должным образом обстряпали.

– Папаша вечно со своими стряпчими. Кто первым сказал: «Сначала грохните всех стряпчих»?¹⁸

– Полагаю, тот маленький английский дурачок, к которому так расположен дож.

– Ну, все равно так и надо.

– А потом добавил: «А после стряпчих – хорошенько проредить вашу ничтожную знать».

– Какая досада.

– Однако смазливенький, хоть и дребезжит.

– Знаешь, Нерисса, этот громадный гульфик у него набит лоскутами шелка.

– А держится совсем не так.

– В смысле – ноги колесом?

– Нет, будто ничего не боится. Дурак этот стоит неколебимо среди купцов, у которых поджилки трясутся, вдруг слово невпопад лишит их состоянья. Стоял, то есть. Покуда горем его не подкосило. Ох, меня б так любили, чтобы мужчина погубил себя после моей утраты. Вот это, госпожа моя, возлюбленный что надо.

– Он наглый дурак, Нерисса, и мелок притом до крайности. Я запрещаю тебе по нему сохнуть.

– Я по нему не сохну – меня восхищает его дерзость. Ну, восхищала то есть. Говорят, он уехал среди ночи, забрал свою обезьянку и великанского своего обалдуя и уплыл назад во Францию на купце. Это колокол с причала?

Порция встала, взяла себя в руки и перегнулась через перила – куда, должно быть, уплыло ее рукоделие. Затем оборотилась и сделал вид, будто удивлена, когда вошел лакей.

¹⁸ Имеется в виду фраза мясника Дика («Первым делом мы перебьем всех законников») из «Генриха VI», часть 2, акт IV, сц. 2, пер. Е. Бируковой.

– Моя госпожа, синьор Антонио Доннола, венецианский купец, с двумя компаньонами, синьорами Грациано и Бассанио, выразить госпоже свое соболезнование.

– О, а я синьора Бассанио помню, – сказал Порция, и в серо-голубых глазах ее заискрилась морщинка улыбки. – Принеси угощение – и цветов для этого унылого стола. И еще, Нерисса, принеси те три кинжала в кожаных ножнах, что мы нашли среди батюшкиных вещей. Антонио наверняка знает, кто из отцовых друзей их оставил.

– Слушаюсь, госпожа.

* * *

ХОР:

Итак, во тьме прикованный, нагой и одержимый адской неведомой тварью, после пяти приливов и отливов, дурак окончательно сбрендил.

Я не сбрендил!

ХОР:

Страхом скрутило крохотный умишко дурака – растянуло его превыше всех пределов рассудка, пока тот не лопнул, – и дурак, весь дрожащий и бледный, рехнулся совсем.

Я не рехнулся!

ХОР:

Ополоумел, окончательно обезумел. Чокнулся. До висящих слюней, до пены изо рта, до гавканья сбесился.

Я не сбесился, мать твою налево, долбоеб!

ХОР:

Ты орешь на бестелесный голос в темноте.

Ох, ебать мои носки. Это он верно заметил. Ну, может, чутка попутал, но не сбесился же. Хотя кто меня упрекнет, если я решил прогуляться Умом за Разум – со всеми этими отравленьями, жарой и голодом, ранами, вездесущей тьмой и страшной тварью, которая ныкается в воде и только и ждет, чтоб разорвать меня, блядь, в клочья? И так далее. Такого довольно вообще-то, чтоб и самого крепкого парнягу свести с диеты, а уж я-то, изнуренный и тщедушный ремесленник розыгрышей, – у меня какие шансы удержаться за шелковую нить здравомыслия?

В отливы, как вот сейчас, я занимаю свой ум, измысливая изощренные муки и мести своему тюремщику и перемежая их всхлипами и жалкими стенаньями по навсегда утраченной Корделии, потерянной свободе и изгнанничеству из света и тепла. Между приступами душесокрушительного отчаянья схлебываю воду у себя с руки. Хоть какая-то победа – эти непрестанные капли сверху, что плюхаются на карниз у моей руки, будто часы жизни моей отсчитывают оставшееся ей время. Оказалось, что влага животворная. Да, видите ли, она оказалась пресной – вне сомнений, в какой-то цистерне наверху течь, и, если преисполниться решимости и немного выкрутить цепь, можно немного утолить жажду – вода сочтется по цепи и руке. Иногда я развлекаюсь пением песен или воплями, пока не садится голос. Но когда наступает прилив и келья моя наполняется теплой морской водой – тогда приходит она, и эта беспросветная преисподняя становится чем-то иным.

Не знаю, сколько времени я здесь. Поначалу считал приливы, но отмечать их не удавалось никак, и я сбился. Похоже на целую жизнь, но на самом деле могло пройти всего несколько дней. Я пытаюсь вообразить, как в особняке надо мной ходят Брабанцио и его домочадцы, и мне кажется, я слышу голоса или перезвон колокола, но наверняка сказать невозможно. Звуки у меня в голове, голоса мертвых так же реальны для меня, как что угодно снаружи.

Я с ними беседую – с мертвыми, что приходят ко мне во тьме, и если прищуриться, их даже видно: фантомы моего прошлого, серо-синие в кромешной черноте. Возлюбленные, друзья, враги, мушкетеры, тупицы, лизоблюды, жополизы, сиповки, хрычовки и обалдуи. Те, кого я даже не помню, проходят мимо, приостанавливаются, смотрят на меня, глаза у них черные и пустые, как все остальное. Не знаю, снятся ли они мне, – не знаю, сплю ли я вообще. Прилив дает рукам в цепях отдохнуть, и я отплываю. Просто плыву.

Когда она приходит, я всегда кричу, а она проскальзывает в келью мимо ног моих, кружит, заползает мне под коленки. Если б я и ждал ее, предвкушал, если я даже знаю, что она со мною в келье, в тот миг, когда она меня касается, я пугаюсь, я в ужасе – и слышу, как в шее у меня боевым барабаном грохочет пульс. Цепи мои лязгают, и я падаю, распятый в оковах, пред нею.

Она не причинит мне вреда, пока не причинит мне вреда; к этому я привык. В тот первый раз, когда отравы Монтрезора и страх еще густо клубились у меня в крови, я чувал, что в келью проникла акула или громадный угорь, пред моим мысленным взором представала зубастая пасть, отрывающая от меня кусок за куском. Но когда когти или шипы вцепились в мои чресла и что-то мягкое – мягче некуда, вроде меда в воде, – обернулось вокруг моего естества, рассудок мой уже не сумел связать с этим существом никакой картинки. Что за тварь из немеряных глубин может быть мягкой и нежной, однако сильной и шипастой? Я видал живых осьминогов в ведрах морской воды на венецианском рыбном рынке, и торговец взял меня на слабо, что я-де его не потрогаю, – и да, он был мягок и отвратителен, чуть лучше злонамеренной требухи.

– Ебанные венецианцы, да вы готовы жрать все, чем море блюет, а? Это похоже на такое, что высрала такая мерзость, какую к кухне и близко подпускать нельзя, а я при этом принадлежу к роду преданных поедателей потрохов.

Рыботорговец расхохотался.

Но эта штукавина в воде, во тьме – не осьминог, точно. Много я понимал, да? Но она меня все окучивала и приходовала, а через некоторое время успокоилась и свернулась у моих ног, да так и осталась. Если ей суждено меня убить, пусть. Ноги мои были обездвижены, обернуты кольцами неумолимой силы до самых бедер. Я не мог с нею сражаться, я даже пнуть ее не мог, а всю силу легких истратил, на нее визжа. Я лишился чувств, или сдался, или сдавило меня так, что в глазах потемнело и дыхание сперло, – не знаю. Но когда я вновь пришел в себя, начался отлив, и в келье я остался один.

Когда жажда подвигла меня на переустройство цепей так, чтобы вода стекала мне по руке, я наткнулся ладонью на что-то живое – и завизжал. (Да, тут в потемках я обильно визжу. Делать больше нечего в паузах между ужасом и страданьем – так что, быть может, голос бестелесного дрочилы прав. Может, я и впрямь свихнулся. Да как тут скажешь наверняка в темноте?) Только живым оно не было – то, что лежало на карнизе. Недавно живым – быть может. Я осторожно провел по нему рукой, нащупал колючки, плавники, глаза... Рыба. Дохлая, но дохлая недавно. И длинная, как мое предплечье, и такой же толщины. К тому же – надрезанная, я нащупал зарубки в чешуе. Я принял молитвенную позу, при которой руки мои встретились, и поел рыбьего мяса, убеждая себя не торопиться, не глотать вместе с чешуей и костями. То была превосходнейшая еда, какую вообще доводилось мне вкушать

в жизни, и я ощущал, как все мое существо впитывает ее в себя, делает частью меня. Словно поглощал я саму тьму.

Чудище из темноты оставило мне рыбу, разделало ее для меня, спасло от голода, если не бреда. Каким грубым тварям ведома милость? У каких это акул глаз сияет милосердием? Таких нету! Все это – человечье, но если даже человек может вести себя по-зверски, способно ли чудовище являть натуру человека? Женщины?

Со следующим приливом она ко мне вернулась, и я вякнул, пробудившись от своей дремы. Но не стал ее пинать, пока она терлась об меня снова и снова – так о ноги трутся кошки. Затем существо это вновь обернулось вокруг моих ног, и я опять ждал – укуса, что отнимет у меня всю ногу. А огромные гладкие кольца мышц стискивали меня все крепче. Вновь в ляжки мне вонзились когти. Я завизжал, но полосовать меня, как рыбу, эти когти не стали – они лишь проткнули мне кожу, затем я вновь с приятностью уплыл, а мягкие части чьего-то тела принялись за обработку моего мужского естества.

Именно в тот второй раз осознал я, что именно со мною в воде, сумел сопоставить свой мысленный образ с ощущениями и начал думать об этой твари как о женщине. Спокойное плавание, в которое я отправлялся, не было ни измождением, ни ужасом, ни остаточным воздействием яда Монтрезора. То была отрава русалки. Не видел ли я таких сирен сотнями на вывесках пивных и носках кораблей? Русалка в Венеции так же распространена, как лев Святого Марка, и теперь, тут, в моей темной келье, открытой морю, меня она соблазняет.

Я дал яду и страстным знакам русалочьего внимания мною овладеть, пока весь не истощился, после чего обмяк в плавучей обалделости рассольного послетраха, а русалка свернулась вокруг моих ног, приняв на себя мой вес и давая рукам в цепях немного отдохнуть.

И вот так, снова, как в детстве, когда мальчишкой меня запирали в буфете, я подружился с тьмой. Наступал прилив, и с ним приплывала русалка, впускала в меня свой сонный яд, затем мы с нею в пене трахались и скользко обнимались, а потом я просыпался и завтракал сырой рыбой, иногда – двумя. Пил воду и дремал во тьме до следующего прилива.

Что за волшебное существо, что за диво дивное отыскивало меня здесь в самый скорбный мой час? Почему об этом никто никогда не писал, почему эта история русалки до сих пор не рассказана? Она – они – что, приходят лишь к обреченным? Быть может, я уже на том свете? Поди проверь, вдруг я призрак, прикованный навеки этими цепями, обреченный населять сию темную келью и подвергаться пыткам растленной рыбодевки?

Сами знаете, куда ж без окаянного призрака. Так, может, я – он?

Как подумаешь о призраках, как стонут они и страдают, ты ж не считаешь, что это у них постоянно и навсегда. Верно? Чуть повоюют около полуночи, полязгают цепями, дунут хладом разок-другой, цапнут за лодыжку на лестнице иногда, чтоб зрители уж наверняка обосрались, – ну и все, рабочий день закончился, нет? Дальше пари себе, ложись вздремнуть сколько влезет, может, в теннис перекинешься... заглянешь в аббатство поразвлечешься за счет настоятеля, чего не? Ты ведь не думаешь, что будешь прикован к сырой стене блядскую вечность, что в уме у тебя гнилым зубом будет ныть мысль о возмездии, а паузы заполнять сожаленье, скорбь и дрожь. Ну и да – визг, коего, как я уже упоминал, я произвожу сравнительно много. Сочинишь, бывает, слова к песенке в тысячу с гаком куплетов – убедиться, что еще не окончательная мандрапапула. А будущее для призрака становится несколько беспредметным – грезы о мести, на самом деле, скорее умственная игра такая, лишь бы чем-нибудь заняться. Только мне так не кажется. Конец там все же есть. Я его чувствую. И он, быть может, недалек.

С каждым разом, приплывая ко мне, она все неистовее. Когти ее, или шипы, или что оно у нее там – они, похоже, вонзаются все глубже. Она положительно меня имает, а укусам теперь подвергаются и другие части тела, хотя, хвала всевышнему, не моя мужская оснастка. От забытья после яда я очнулся и почувствовал, как по ногам у меня льется кровь из ран,

оставленных ее когтями на бедрах. Если она не прикончит меня сразу, боюсь, я могу зачахнуть от слабости, потери крови или нагноения. Иногда в келью ко мне вползают крабы, и я слышу, как они топчут в темноте. Если подбираются близко, я их распинываю, но что будет, когда пинать я больше не смогу? Все же, наверное, предпочтительнее то будущее, когда все умозрительно. Темно. Да, я подружился с темнотой. Больше чем подружился. Я научился ебать тьму. Мы с нею одно.

И вот – опять она. Мимо моих ног, вокруг кельи, всплеск хвоста или плавника, вода кружит и вскипает от ее тяжести. Подлезает мне под ноги – теперь она кажется мне больше, шире, и картинка у меня в голове меняется, мне трудно воображать миловидную, льняновласую деву, примостившуюся на скале. Она – сама мощь, сама тьма.

Она вздымается предо мной, гладкая, скользкая, и я весь подбираюсь, ожидая когтей. Хуже этого нет ничего, пока яд не унес меня прочь, пока у меня все болит и саднит от наших с ней скачек в прошлый прилив. Пытаюсь не кричать, но – кричу, и она вонзает в меня когти, словно рыбак наживку на крючок.

– Ебать мой вяк! Полегче, Вив!

Я назвал ее Вивиан – в честь какой-то ничтожной английской побасенки про Хозяйку Ятого Озера. А то невежливо как-то – она мне спускает каждый оборот луны, а я даже не знаю, как ее зовут.

Но теперь она не принимается, как обычно, за свои половые игрища. Она меня тянет, дергает. Рот ее – или какой там еще своей мягкой частью она меня окучивает – прицепляется ко мне, жестко, и от присоски этой больно. Меня тянут прочь от стены, цепи натягиваются. Запястья мне выкручивает в оковах, потом и плечи, кажется, вот-вот вывернутся из суставов. От стены слышится треск. Цепи скользят, еще и еще, и всякий раз, когда мне обдирает кожу с запястий, когти ее впиваются глубже. Хвостом она лупит по воде в келье так неистово, что я и воплей своих не слышу, а я воплю, и воплю, и цепи не выдерживают...

ХОР:

И так вот, с выдранными из стены цепями, безумный дурак утащен был своей адской любовницей вниз – в темные глубины Венецианской лагуны.

Явление шестое Игроки

Антонио спешил прочь от Риальто, а колокола Святого Марка звонили к полуденной молитве. За ним следовала свита из четверых юных взысканцев, обряженных по-деловому, и в темных платьях их виделось некое однообразие, определявшее их на сторонний взгляд как представителей купецкого сословия, однакож всякий щеголял яркого колера шелковым платком, брошью или броским пером на шляпе. Сим они заявляли о своей исключительности. «Я один из вас, – говорили тем самым они, – только, может, чуточку получше». Все они гурьбой трусили за Антонио, как щеночки за гончей сукой – от них убегали ее сосцы.

– К чему такая спешка? – спросил Грациано, самый высокий из четверки и широкий в плечах, как портовый раб, когда они взошли на мост Риальто. – Если у нас важное дело, мы должны в Риальто идти, а не обедать, разве нет?

Антонио обернулся и совсем уже было собрался в очередной раз указать на талант व्यюноши манкировать контекстом и, зачастую, ослепительно очевидными вещами, как тут же столкнулся с коренастым седобородым человеком в длинном кафтане. Мужчина этот, спускаясь с моста, листал фолиант документов.

– Жид, – промолвил Грациано, огибая Антонио и хватая старика за руку так, что ему пришлось привстать на цыпочки.

– Аспид! – произнес Саларино, самый старший из व्यюношей; он уже толстел и никогда не отходил от друга своего Грациано. Еврея он подхватил под другую руку и тут же миг сшиб у него с головы желтую скуфью.

– Антонио, – сказал еврей, вздрогнув от неожиданности и оказавшись лицом к лицу с купцом.

– Шайлок, – сказал Антонио. Ну что еще? Придя ему на выручку, два юных остолопа вынуждали к действию. Бессмысленно. Неприбыльно.

– Прошу прощенья, – выдал Шайлок, склоняя голову, но умоляюще подымая взгляд. Антонио он знал.

Тот сдержался и не вздохнул. Вместо этого напустил на себя гнев.

– Пес жидовский! – рявкнул он и плюнул еврею в длинную бороду, после чего оттолкнул Саларино и целеустремленно зашагал вверх по ступеням моста.

– Бросим его в канал? – осведомился Саларино.

– Нет, оставим этого пса-живодера на его вечные муки, – ответил Антонио. – Нет времени. Пойдемте.

Они выпустили еврея, и тот вновь оказался на ногах. Грациано вышиб ворох бумаг у старика из рук.

– Смотри, куда ходишь, хам, – сказал он и поспешил за Антонио, зацепив за рукав Саларино и таща его за собой.

Бассанио, самый симпатичный из клеветов Антонио, протиснулся мимо Шайлока, словно бы опасаясь подцепить что-то себе на блузу, если они вдруг соприкоснутся, и рьяно мотнул головой Лоренцо, мол, двигай и ты. Тот, самый юный в компании, сгреб бумаги Шайлока с мостовой и неловко сунул их в руки старику, затем поднял желтую скуфью (такие были обязаны носить все евреи) со ступеней, нахлобучил ее Шайлоку на голову и несколько раз прихлопнул. Старый еврей тем временем просто смотрел на него. Лоренцо отступил на шаг, поправил шапочку и прихлопнул ее еще разок. И только после этого встретился с Шайлоком взглядом.

– Жид, – сказал он, кивнув в подтверждение.

– Мальчик, – ответил Шайлок. И больше ничего.

- Ну вот и ладно, – сказал Лоренцо и поправил на старике скуфейку в последний раз.
- Лоренцо! – выдавил сквозь зубы Бассанио, шепотом настоятельным и подчеркнутым.
- Иду. – Лоренцо взбежал по ступеням на мост, и вместе с другом они перевалили за его горб.
- Зачем? – спросил Бассанио. – *Жиду?*
- Вы его дочь видали? – ответил Лоренцо.

* * *

Антонио держал за собой целый этаж на верху четырехэтажного здания на Рива Ка ди Диа, недалеко от Арсенала. Апартаменты эти располагались не в самой фешенебельной части города, да и от Риальто далековато, он бы предпочел поближе, но поселился он тут, когда в его делах случился некоторый спад, а из окон своего жилья он видел суда, входящие в Венецианскую лагуну и выходящие из нее, поэтому тут он и остался, даже когда дела наладились. Другьям он говорил, что ему нравится самому присматривать за их ходом.

За столом Антонио сидел Яго с каким-то человеком помоложе.

– Меня впустила ваша служанка, – сказал солдат.

– И угостила вином, я вижу, – ответил Антонио.

– Это Родриго, – сказал Яго. – Тот, кто принес мне весть о прискорбной кончине Бранцио.

Родриго встал и слегка поклонился. Ростом он был с Грациано, но гораздо худее, а волосы и нос его – длиннее, чем было модно. Последний был вполне прям и тонок – на лице он выступал, как мясной клинок.

– Честь, сударь.

– А это Грациано, Лоренцо, Саларино и Бассанио. – Всякий в свой черед склонил голову при упоминании своего имени.

Яго поднялся и подошел к Бассанио, протянул руку.

– Стало быть, вы тот, с кем нам нужно побеседовать. – Он подвел Бассанио к столу, словно выводил даму на танец. Бросил через плечо: – А остальные – пиздуйте отсюда.

– Яго! – произнес Антонио с укором. – Эти господа – мои друзья и компаньоны, самые обещающие молодые купцы Венеции. Им не прикажешь просто так пиздовать.

– А, – промолвил Яго, приподняв руку к своему кожаному дублету. – Понимаю. – Танцевальными шажочками он подступил к троице, отведя взгляд прочь: ни дать ни взять смущенная тетушка, засидевшаяся в девицах. – Тысячу извинений, господа. Надеюсь, вы сможете меня простить. – Он обошел их кругом на цыпочках, маленький танцор хоть куда, и длинный меч его в ножнах задел лодыжку Лоренцо. Обхватил всю троицу руками за плечи, лицо его возникло между ушей Лоренцо и Саларино. Яго прошептал: – Я солдат, сын портового грузчика, и на войну попал, когда был моложе любого из вас, поэтому манеры мои могут показаться грубоватыми для торгового сословья. Надеюсь, вы меня простите. – И он повел глазом, глядя на Грациано, а тот вытянул шею, заглядывая за своего друга. – Извинения, – сказал Яго. Еще раз повел глазом.

– Принимаются, разумеется, – произнес Грациано.

– Разумеется, – повторили за ним в свой черед юный Лоренцо и круглый Саларино.

Яго прервал объятье и пируэтом развернулся к Антонио.

– Извиняюсь, добрый мой Антонио. Благородный Антонио. Почтенный Антонио. Я не стану оскорблять ваших друзей.

– Пустяки, – ответил Антонио. Ему вдруг стало жарковато и как-то чесуче под воротником.

– О, превосходно, – сказал Яго. – А теперь, раз все мы тут хорошие друзья, – пиздуйте отсюда.

– Что? – не понял Лоренцо.

– Ты тоже, Родриго. Ступай, пусть купцы тебя накормят обедом. Пиздуй.

– Что? – Родриго приподнялся со стула.

– Пиз, – произнес Яго и после паузы выдохнул: – ...ДУЙТЕ! Все разом.

– Что? – Грациано не уловил, что произошло с его новым ласковым другом.

Яго перевел взгляд на Антонио.

– Я слишком тонко выражаюсь? Мне редко доводится бывать в обществе столь изысканных юных господ.

– Вы хотите, чтоб они отсюда сдриснули? – уточнил Антонио.

– Именно! – подтвердил Яго, повернувшись к соборищу спиной и подняв указательный палец в назидание. – Я привык, что солдаты исполняют все, как им велено, под угрозой меча, поэтому мне помстилось, будто я слишком мямлю. Милостивые господа, мне и Антонио нужно обсудить с Бассанио одно дельце, поэтому мне требуется, чтоб вы все сейчас же отсюда съебались.

– А, – произнес Родриго.

– Ну! – Рука метнулась к мечу.

Все выкатились прочь из комнаты.

– Родриго! – крикнул им вслед Яго. – Возвращайся через час.

С лестницы донеслось:

– Слушаюсь, лейтенант.

– Все прочие?

– Ну? – Голос Грациано.

– Оставайтесь упиздованными.

Яго закрыл дверь, заложил щеколду и повернулся к Антонио.

– Вы один во всем этом виноваты.

– Вы тоже привели с собою друга.

– Родриго мне не друг. Он полезное снаряжение, дополнение.

– Стало быть – оружие?

– Именно. Как и этот привлекательный юный повеса. – Яго нахлобучил шляпу обратно на голову Бассанио. – Не так ли, парнишка?

– Я думал, мы будем тут обсуждать Порцию, – сказал тут Антонио, словно Яго не было в комнате.

– Все верно, – согласился хозяин. – Но есть загвоздка.

– Какая еще загвоздка? Он из хорошей семьи, девчонка ему по нраву, сам он пригож собой и годеен – на мой вкус, даже слишком. Я бы предпочел запереть его во браке, лишь бы не лез в постель к моей жене. – Яго повернулся к Бассанио и пояснил: – Она несколько блядовита, я подозреваю. Ты не виноват, что такой хорошенький.

– Загвоздка не в Бассанио, – сказал Антонио. – По лицу Порции заметно было, что он ей нравится, но старик Брабанцио поставил ее браку некие условия, кои воспретят нашим голубкам слиться в блаженстве.

– Условия?

– Дабы избегнуть еще одного бедственного мезальянса, как это случилось у Отелло и Дездемоны, старик измыслил загадку. Каждый соискатель руки Порции должен выбрать один из трех ларцов – золотой, серебряный или свинцовый. После чего ему дается ключ, и если в ларце обнаруживается портрет Порции, они могут пожениться. Если ж нет, ухажер отваливает и никогда уже не возвращается. За всем процессом надзирают стряпчие Брабан-

цио, у которых все его имущество на балансе – та его часть, то есть, что не завещана Дездемоне.

Яго попятился и рухнул в кресло; его правая рука выследила и захватила в плен полупустой кубок с вином.

– И как, по мысли Брабанцио, эдакое испытание может уберечь его дочь от замужества с каким-нибудь негодяем? Выбор металлического ящика?

– Он намеревался надзирать за этим делом самолично – а ларцы-де сообщают девице иллюзию того, что он вручил выбор судьбе.

На загорелом лбу Яго забились жилки. Когда он заговорил, голос его звучал размеренно, и он пристально следил за Бассанио – не пугает ли часом юношу.

– Стало быть, даже Порция не знает, что в ларцах?

– И никто из стряпчих. Брабанцио сам опечатал замки, личной своею печатью. Только он сам знал, в каком из них выигрыш.

– Жалкий полоумный дровича! – проскрипел Яго. Затем – Бассанио, мягко: – Благослови его Господь и смирись над душою его.

– Аминь, – выдавил Бассанио, склонив голову. – Упокой, господи, душу его – и мою вместе с нею, когда я приду к нему в темные земли смерти. Лишившись любви моей Порции из нехватки трех тысяч дукатов, я пойду и лучше утоплюсь.

– Дороговато что-то, – заметил Яго, приподняв исшравленную бровь. – Я б тебя утопил за половину... нет, за треть этой суммы.

– Он по ней довольно-таки сохнет, – пояснил Антонио. – Три тысячи дукатов – это цена, кою должен уплатить ухажер за право открыть один из ларцов.

– Лишь за возможность, – взвыл Бассанио.

– Загадку мы решим, не успеет он за нее взяться, – произнес Яго. – Даже если это будет означать, что некоторых стряпчих нужно убеждать металлом не столь драгоценным, как золото. Дайте ему денег, Антонио.

– У меня их нет. Все мои активы сейчас в море. Прибыль я получу лишь через несколько месяцев.

Сломанная бровь Яго вновь приподнялась и опала, словно крыло хищной птицы, заходящей на посадку.

– Напомните-ка мне, в чем ваша доля в нашем предприятии?

Бассанио уронил голову, отягощенную горестью, на руки.

– Порция достанется какому-нибудь старому богатею, а я пойду и немедля утоплюсь в день их свадьбы.

Яго встал и зашел Бассанио за спину, взял юношу за плечи и приподнял со стула, могуче потрянув его.

– Ну и глупый же ты господин!¹⁹

Оказавшись в крепкой хватке Яго, Бассанио беспомощно глядел на друга своего Антонио.

– Это жить глупо, когда жизнь стала пыткой²⁰.

– А что, любовь – не пытка, коли человек не умеет любить себя? Не об утопленье речь веди, а об утоленье жажды своего сердца действием. Набей кошель деньгами²¹.

– Я знаю, так любить ее – каприз, мы столь мало с нею знакомы, но она сияет небесным светом, а я беспомощен.

¹⁹ «Отелло», акт I, сц. 3, пер. М. Лозинского.

²⁰ Там же, пер. О. Сороки.

²¹ Там же, пер. О. Сороки.

– И, подобно беспомощным котяткам и слепым кутяткам, что – пойдешь и сей же час утопишься? Вот уж дудки! Набей деньгами кошелек²². Сдайся страстям своим – и они доведут тебя до самых нелепых последствий²³, ибо страсти рассудок оглушают. Уж лучше пусть разум отыщет тропу к страсти: набей потуже кошелек²⁴.

– Но даже случай...

– Иди и сколоти монету²⁵, юный господин. Продавай земли, сокровища, взимай с должников – и бери свою даму, удачу свою, свое будущее, свою судьбу – за рога. Ибо фортуна, знамо дело, благоволит истинной любви – если за той охотится здравый смысл. Суй деньги в свой кошелек.

– Но у меня ни сокровищ, ни земель.

– Ох, ну ебать-копать. Правда, что ли? – Паруса Яго вдруг обвисли, и он яростно глянул на Антонио. Тот грустно кивнул.

Антонио обнял Бассанио за плечи и вывел из жестких объятий Яго.

– Но у вас есть друзья, и они придут вам на выручку. Мои вложения в морях стоят больше запрошенной за эту невесту цены. Ступайте, Бассанио, в Риальто – сами убедитесь, какой кредит откроет вам мое доброе имя. Я обеспечу вам боезапас для сватовства к прекрасной Порции.

– Но я и без того вам должен столько, что вряд ли уплачу...

– Ваше счастье, верность и любовь будут мне воздаянием.

– Да, – подытожил Яго, изымая выюношу из объятий Антонио и спешно препровождая его к двери. – Я разве не уточнил: набей свой кошелек деньгами *Антонио*? Теперь ступай, отыщи удачу в Риальто – и пришли сюда Родриго, нам надо словом перебраться.

Бассанио поспешил за дверь, но на выходе обернулся.

– О, синьор Яго, и не забудьте о своих кинжалах в Бельмонте. Порция их для вас хранит.

– Ступай, суй деньги в свой кошелек, – повторил Яго, закрывая за ним дверь. Затем повернулся к Антонио. – Мои кинжалы?

– Порция отыскала их в пожитках Брабанцио и спросила у меня о них. Я б забрал их себе, но лишь солдату дозволено открыто носить оружие, поэтому я сказал ей, что они ваши.

– Ну, клятый этот дурак же не носил их открыто, верно? Сунули б себе под дублет, и дело с концом. Вам их надо было на себя надеть в ту ночь, вместе с шутовским костюмом.

– Просто отправьте этого своего Родриго, пусть вам доставит – и делу конец. Сами же сказали, он бывает в Бельмонте.

– Родриго знает, что метательные ножи – оружие карманника или балаганного клоуна, а не истинного солдата. Отправлюсь сам. Будем надеяться, Брабанцио не оставил по себе иных памяток о своем возмездии. Я в пар облек бы руку, лишь бы надавать призраку старика по морде за его тупоумные планы и головоломки.

– Головоломки слишком ломают головы. Даже если Бассанио выиграет эту лотерею ларцов, почему нам знать, осуществим ли мы наш дальнейший замысел?

– Вы правы, он и впрямь, похоже, туповат – даже для сенатора.

– Я не об этом. Я о том, что даже если ему удастся жениться на Порции, она ничего не получит в наследство, коль скоро на пути его стоит муж Дездемоны. И когда мы свой план разрабатывали, вы должны были стать генералом, но раз Кассио – заместитель Отелло, даже это намерение слишком зыбко.

²² Там же, пер. М. Лозинского.

²³ Парафраз, там же, пер. М. Морозова.

²⁴ Там же, пер. Б. Пастернака.

²⁵ Там же, пер. Б. Лейтина.

– Значит, Отелло должен исчезнуть – и Кассио с ним вместе. Мавр нипочем не стал бы генералом, если б не сокрушительный разгром его предшественника Дандоло. Поэтому командовать разгромом Отелло буду я.

– Вы заставите Отелло проиграть войну, чтобы занять его пост? От военного флота остались только щепки, так что еще одна потеря – и вам нечем будет командовать.

– Нет, я не прибегну к орудиям войны, чтоб свергнуть мавра. Хотя мне известно, что как солдат Кассио я превосхожу, умения Отелло превосходят мои. Нет, орудие свержения Отелло в сей же миг подымается по вашей лестнице.

С лестницы действительно доносились шаги – поднимался один человек.

– Родриго? – Антонио подошел к двери и придержал щеколду. – Но он же недоумок!

– Придержите-ка столь низкую клевету, Антонио. Я разве *ваших* друзей унижаю?

– Ну... – Антонио откинул задвижку и распахнул дверь перед Родриго. – Да.

– Входи, входи, добрый мой Родриго, – произнес Яго. – Я только что рассказывал Антонио о твоей привязанности к госпоже Дездемоне.

– Вы рассказали ему? Я до сих пор этого стыжусь. – И Родриго прикрыл лицо шляпой от взора Антонио.

Яго принял у него шляпу и швырнул ее в угол, затем обхватил рукой за плечи.

– Антонио наш друг. И нет стыда ни в чем, в чем нет разгрома, добрый мой Родриго. Говорю тебе – свою Дездемону ты еще получишь.

– Но она замужем за мавром, и они оба на Корсике. Как же мне ее теперь завоевать? Я потерял.

– Потерян, говорит, – бросил Яго Антонио через плечо. – А вот служанка Порции Нерисса и посейчас по нему сохнет и одаряет милостями своими, а для служанки она очень даже ничего.

– Я с нею познакомился, когда пытался ухаживать за Дездемоной, – пояснил Родриго.

– И Дездемона будет твоей. Честное слово.

– Но как?

Яго ухмыльнулся Антонио, затем притянул Родриго поближе.

– Теми же средствами, коими ты станешь хозяином своей судьбы, добрый Родриго. Теми средствами, коими разум удовлетворяет страсть, юный мой жеребчик. Если тебе потребна Дездемона, сперва нужно класть деньги в свой кошель.

– Правда? – спросил Родриго.

– В самом деле? – спросил Антонио, который задавал совершенно иной вопрос.

– Да, мальчик мой, набей потуже кошелек. Продай земли, сокровища свои, взыщи с должников, и когда кошель твой набит – отправимся на Корсику и к прелестной Дездемоне. Истинно тебе реку: деньги – в кошель.

– А вино еще осталось? – спросил Родриго.

– Я же говорил, – произнес Антонио.

Действие II Город вод

...а эта дьявольская тварь — моя.
— *Просперо, «Буря», акт V, сц. 1, пер. Т. Щепкиной-Куперник*

Явление седьмое Ла Джудекка

ХОР:

Перенесемся ж на извилистый остров к югу от центральных кварталов Венеции, называемый Ла Джудекка. От города отделен он не каналом, легко смыаемым мостами, но широким водным трактом, называемым Транчетто — Лидо де Венеция, кой потребно пересекать гондолою либо паромом. Здесь, в виду Базилики Святого Марка, живут все евреи Венеции, и только здесь дозволено им владеть собственностью.

Сим мягким сентябрьским утром прекрасная Джессика, единственная дочь вдовствующего ростовщика Шайлока, обнаружила на своем брусчатом причале перед домом маленького, бледного и голого человека, коего лагуна отхаркнула ночным своим приливом.

— Ого! Да он дышит!

ХОР:

Втайне Джессика очень обрадовалась — не только из-за того, что вынесенный на берег парняга жив, но потому, что желала как раз такой посылочки. Собственного своего раба. Многие зажиточные венецианцы владеют рабами, однако евреям практика сия воспрещена, посему отец держит в черном теле Джессику: заставляет вести дом, готовить и выполнять иные обязанности. Не такой прижимистый предок для всего этого мог бы и нанять кого-нибудь.

Но, увы, вот и сам старый еврей.

— Вот ты где, Джессика. Я поехал в Риальто.

— До свиданья, папа.

— Девочка, зачем ты это раскорячилась эдак на причале?

— Писаю, папа.

— Прямо перед домом? Прямо вот так? Хотя я построил совершенно пригодную уборную в самом доме?

— Не хотелось тебя тревожить. Видишь, я расправила все юбки. Никто и не заметит.

— За то, что тебя в таком виде — на причале, мочишься, как собака, — не увидит твоя мать, я благодарен. Вернись в полдень к обеду. Вымоешь посуду.

— Хорошо, папа.

ХОР:

Итак, избавившись от Шайлока, Джессика обратила все свое коварство к последующему представленью папеньке своего нового раба, для чего потребуются некоторая чистка, снятие цепей и, вероятно, приведение выброшенного на берег в сознание. Но как

бы щупл ни был ее раб, Джессика поняла, что сил втащить его по скату в дом ей самой не хватит.

– Мне не хватит сил втащить его по скату.

ХОР:

...произнесла она с великой избыточностью, ибо рассказчик только что указал именно на это.

– Я с Гоббо разговаривала, дурья башка. А ты никому не нравишься, между прочим. Таишься на полях, делаешь вид, как будто все знаешь.

ХОР:

А, да – и впрямь, с необычайною украдкой и немалой исподтишкой старый слепой побирушка Гоббо простучал клюкой по дорожке и теперь медлит наверху лодочного ската, тем самым застав рассказчика врасплох, хотя тот редко остается в неведение касемо таких пертурбаций.

– Синьор Гоббо, помогите мне втащить этого парня в дом. Мне не хватает сил его сдвинуть.

– Какого еще парня?

– Этого вот бедолагу, который почти утоп, и его вымыло нам на лодочный причал.

– Как ты считаешь, может это быть мой сын? Мой мальчик, так давно потерянный?

– Великолепно. Ваш сын. Помогите мне втащить *вашего сына* в дом, Гоббо.

– Ну так а что ж ты раньше не сказала?

ХОР:

И так вот, при помощи старика Гоббо Джессика сумела переместить избитого и промокшего насквозь дурака в свое жилище; но когда тянули они его вверх по скату, она услышала, будто мелкая рыбешка плещется, и заметила краем глаза гладкую тень за причалами гондол – та двигалась в изумрудно-нефритовых водах лагуны.

* * *

ХОР:

*И вот, покуда спал дурак сном мертвых, прекрасная еврейка отчикала ему кончик кра-
ника.*

– Что?! – произнес я несколько с чувством, проснувшись после своего преждевременного захоронения и подводных случек с русалкой. – Отпустите мою письку, девушка!

– Не дергайся, раб. Мне нужно только от самого кончика откусить, чтоб папа мне тебя оставил.

Милашка она была что надо: темные волосы, синие глаза, крепкие высокие скулы – и длинный прямой нос, как у принцесс пустыни, что украшают собою ворованные египетские обелиски, стоящие на пьесталах Рима. Сказать вам правду, поначалу я не слишком различил ее черт, ибо она держала кончик моей письки двумя пальчиками одной руки, а другой с великим сосредоточеньем к ней же примерялась. И в этой руке у нее был мясницкий нож размером с гребную шлюпку.

– Он нипочем не даст мне держать раба-гоя. Я видела, как *мохел* это делает, просто десятки раз. Раз плюнуть. Только лежи тихо.

Чтоб вы не решили, будто я невежа, позвольте сказать: я никогда не бил женщину – ну, если не считать игривых шлепков, выделенных кому-нибудь в припадке страсти, а дамы более декадентских вкусов ими прямо-таки наслаждаются... но я никогда не бил женщину с намерением причинить ей вред (если не считать ударом отравление, а мне сдается, что это не считается), но тут – странная деваха с ножом, нацеленным на мужское мое достоинство; все мои годы воинских тренировок и природных инстинктов подстегнули дух мой и повлекли меня к действию. В одно мгновение ока я захватил сосок ее правой груди меж большим и указательным пальцами и настоятельно крутнул.

– Ай! – воскликнула она, отскакивая прочь и схватившись за оскорбленную железу писькодержашею рукой. – Больно. Гадкий раб! Гадкий!

Я отступил в дальний угол койки, на которой лежал, и оборонительно съежился.

– Где я? Как я сюда попал? Ты кто? Зачем ты мне отросток хочешь отчекрыжить?

– Я не хотела. Я просто подтверждала твой завет с Б-гом твоей крайней плотью.

– Послушай, безумная деваха, у меня уже есть завет с Господом, и он таков: я не упоминаю, что он набил мир подлецами, мудацкем и прошмандовками, а он в ответ не суется своими клятыми лапами к моей письке. Отношения у нас напряженные, но рабочие, если не считать... – И тут я вскочил на ноги и двинулся на девушку, невзирая на ее мясницкий нож. – Слышь, а ты часом не русалка, снова ставшая человеком, нет? А то я всякое слыхал. – Я схватился за подол и вскинул ее юбки, чтобы выявить наличие хвоста. – Ой, – тут же сказал я. Не обнаружив хвоста, я отпустил юбку и попятился. – Ну, даже если ты не русалка, панталоны дома все равно носить надо. А то люди решат, что ты распутная.

У меня вдруг закружилась голова, и я в забытии рухнул обратно на койку.

– Говенный из тебя раб получится, правда? – сказала она.

– Я вымотан, милочка. Убери ножик и дай дяде отдохнуть. Да и тост придется очень к месту. Я одной сырой рыбой питался... – Сколько? Я пощупал себе подбородок. На нем отросла уже далеко не щетина. Должно быть, прикованным в подземелье я провел не меньше двух недель.

Она, похоже, на меня посмотрела хорошенько впервые, и я заметил, как глаза ее в тревоге расширились. Нож она отложила на стол, отодвинула шторку, закрывавшую другой край постели, и кивнула:

– Тогда туда.

Хотя в доме было тепло, я весь дрожал, поэтому залез туда, как велели, и она подоткнула под меня еще подушек.

– Да, поесть бы тебе не помешало. Я хлеба принесу с сыром – а может, и сладкого вина, если осталось. Мне придется тебя прятать у себя в комнате, пока не поправишься, а потом можно будет с папой знакомить. Поэтому води себя тихо.

– Тихо, – повторил я.

– Похоже, ты долго пробыл в воде. Выплыл из кораблекрушения? Сбежал с галеры через борт в отчаянье? Таких, случается, выбрасывает на берег, только они уже не дышат.

Я решил, что пока лучше не открывать ей, что я был послом королевства, которого больше нет, бывшим рабом короля Британии и супругом его царственной дочери, покойной королевы почти трети Европы.

– Я трубадур. Плыл в Англию. Наше судно наткнулось на риф и затонуло.

– Я не слышала, чтоб тут суда тонули.

– Ну, это ж далеко отсюда случилось, нет? Оттого я столько и провел в клятой воде, пока меня не выбросило – куда, кстати?

– Ты на острове Ла Джудекка, в доме ростовщика Шайлока. А я – Джессика, его дочь.

– А я – твой отец, – произнесла гора тряпья из угла комнаты.
– Ебать твою неопалимую купину! Это еще что? – Только подумаешь, что страх в тебе истощился, что тебя ничем не удивить. А вот поди ж ты.

Оно шевельнулось.

– А, это слепой нищий Гоббо, – сказала Джессика. – Он мне помог тебя сюда втащить. И занял у кузнеца зубило и молоток, чтобы снять с тебя оковы.

Я начал кое-как различать горбатую мужскую фигуру, с головы до пят, где его прикрывало тряпье, – единого цвета, а где нет, оттенок был другой, что называется – грязный.

– Я знал, что разыщу тебя, – произнес Гоббо.

– Я б тебя нипочем не спасла, если б Гоббо не признал в тебе своего сына и не помог мне. – Джессика поиграла бровями и кивнула мне, чтобы не спорил.

– Очень приятно, – сказал я. – Ты не подумал, что стоит вмешаться при обрезании, правда, па?

– Каком обрезании?

– Даже помыслить не могу, почему это сын тебя бросил, – буркнул я себе под нос. Затем повернулся к Джессике: – Хлеб с сыром, говоришь? Вино?

– Сейчас принесу. И тебе еще нужна мазь для ссадин на запястьях и царапин на попе, а то гноиться начнет.

– Отлично, только письку чур не трогать. У меня траур, со мною грубо обращались, поэтому в игрушки играть я не в настроении.

– Отлично, тогда просто скажем, что ты иудей, но тебе придется надеть штаны перед тем, как я покажу тебя папе. Да и очень мне надо возиться с твоей чахлой писькой. Я люблю чудеснейшего мужчину на свете, его зовут Лоренцо.

– Везучий еврей этот Лоренцо и впрямь.

– О, не еврей он вовсе – он христианин. Купец, учится ремеслу у синьора Антонио, одного из самых выдающихся венецианских купцов. – Она закатила глаза к потолку и обхватила себя руками при мысли о своем возлюбленном Лоренцо.

– У Антонио? Антонио Доннолы?

– Да, ты его знаешь?

– Нет. Но слыхал. – Неужто я зашел так далеко, пройдя через столько всего, чтобы очутиться в гнезде одного из моих убийц? Ибо верно для всех них я был мертв.

Я подчеркнуто зевнул и откинулся на подушки.

– Дорогая Джессика, если мне придется быть евреем, как положено, и в глазах твоего отца – рабом, мне нужно сначала поесть, потом поспать. Но давай не станем никому рассказывать, как тебе случилось меня найти или что я вообще тут. В благодарность за свое спасение я буду тебе служить, но – как новый еврей, свежевылупившийся. Договорились?

– Потрясно! Да, да, конечно, договорились, – отозвалась она. – Раз ты будешь делать за меня всю работу по дому, я смогу чаще убегать и видаться с Лоренцо.

– Лоренцо в особенности не должен знать, как ты меня нашла.

– Но это же так волнительно. Я просто обязана...

– Тогда я сообщу ему, что проснулся и понял, как ты гладишь меня по неприличным местам.

– Ну и ладно тогда, – надулась она. – А с ним как? – Она тряхнула головой в сторону слепца.

– Гоббо, – позвал я.

– Что? Что? – вскинулась гора тряпья. – Кто здесь? Вы видели моего сына?

– С ним все обойдется, – сказал я.

* * *

Меня скрутило лихорадкой, и пять дней я прятался и поправлялся в спальне у Джессики перед тем, как вновь возникнуть на венецианской сцене. Когда Джессика принесла мне свое ручное зеркальце, я едва узнал себя – и почти не усомнился в том, что мне удастся пройти по улицам Венеции, и меня при этом никто не опознает. Особенно теперь, когда Брабанцио лишил меня шутовского костюма и колпака с бубенцами. Худ я был всегда, но теперь щеки у меня впали после сидения в подземелье и воспоследовавшей лихорадки, а физиономию мою ключьями обрамляла мшистая бурая борода. Но все равно замаскироваться посильней, чем это со мной сделали время и износ, не помешает – среди недругов все ж ходить. Для этого мне понадобится помощь Джессики.

Она сидела у окна напротив – чинила мне какие-то матросские штаны, которые раздобра была в порту.

– Джессика, солнышко, – произнес я. – Ты б не перестала шить на минутку?

– Херня, они почти на фут длинней, чем тебе нужно. Хочешь запутаться в штанинах, сломать ногу и ничего не делать, да?

– Отнюдь, отнюдь, – отвечал я. – Я вполне готов быть тебе верным слугой, но прежде, чем ты меня представишь своему отцу, тебе полезно будет кое-что узнать. Я не был с тобой до конца честен.

– Что, ты не свергнутый с трона король Англии, который некогда трахал святую через дырку в стене?

Я поделился с девушкой некоторыми фрагментами своей истории, преимущественно – в бреде лихорадки, но про свое пребывание в Венеции не рассказывал. Я ж ее пока плохо знаю, правда? Благородный господин не начинает беседу с юной дамой, которую только что встретил, с признания: «А, ну спутался я тут с одной рыбодевкой, когда меня погребли заживо в погреб у сенатора, а у вас как дела?»

– Нет, в этой части все правда, – ответил я. – Но я вообще-то не трубадур, потерпевший кораблекрушение на пути в Англию развлекать седьмого графа Попсекса.

– Да что ты говоришь? Потому-то на тебе и цепи эти были, что мы с тебя сбивали, да? Ну как же, это все и объясняет, не так ли? – Она почесала в затылке и посмотрела в окно, словно с небес ей явилось откровение. Милая девушка, однако сарказм был ей не очень к лицу. Но – сообразительная, и за то недолгое время, что мы с нею провели наедине, у нас установилась крепкая дружба, составленная из мелких взаимных обид и оскорблений, хотя обычно такие отношения развиваются всю жизнь. Джессика повернулась ко мне. – Карман, я безутешна в своем разочаровании.

– И в Венеции есть люди, которые причинят мне много вреда, если узнают, что я жив.

– Это потому, что ты говнюк?

– Я не говнюк.

– Тогда зачем им причинять тебе вред?

– Меня несправедливо осудили.

– За что тебя несправедливо судили?

– Мне это неизвестно, хотя многие считают, что я очарователен и добр.

– Правда? И многие так говорят?

Я кивнул; напасти тяжко плескались по моему челу.

– Мне навязали несправедные муки и кошмарнейшие трудности, считай, ни за что ни про что.

– Я знаю, знаю. – Она похлопала меня по руке. – Прямо вода подступает к моим глазам, как ты заговоришь о своей дорогой Корделии. Надеюсь, мой Лоренцо и меня когда-нибудь так же полюбит. Так за что эти ребята хотят тебе навредить?

– Всего лишь за то, что я исполнял повеленье моей королевы.

– За то, что ты говнюк, то есть? – В голосе по-прежнему полно сострадания, все так же успокаивающе похлопывает меня по руке.

– Нет, тут... я... то зло, что творят эти люди... – Ох, ну его все нахер. – Да, это потому, что я говнюк.

– Будет, будет, Карман.

– Но я говнюк во имя короны! – добавил я, и в голосе моем подразумевались королева, держава и Святой Георгий.

– Но говнюк тем не менее.

– Единственное различие между пиратом и капером – во флаге, тебе известно?

– У тебя есть флаг?

– Не будь так буквальна, солнышко, люди решат, что ты простушка. Сам венецианский генерал Отелло был ничем не лучше капера, когда город его нанял, а теперь он герой республики.

– Да, и когда ты спасешь город от полного уничтожения, к тебе тоже относиться станут, как к герою, а для этого – и это всего лишь моя догадка, потому что я простая еврейская девушка и мало что понимаю в изощрениях правящего класса, – тебе потребуется надеть какие-никакие штаны.

– Вот на это я и намекаю, тыковка. Найдется ли у тебя пара котурнов?

Котурнами назывались деревянные, которые венецианские дамы – и даже некоторые господа – цепляли к своей обуви, чтобы не ступать в грязь, мерзость и пакость, заполнявшие улицы во время дождя или наводнения. Попадались дамы, которые, дабы уберечь платья, сшитые из тончайших тканей, что им привозили из самых далеких и экзотических портов, от порчи уличными стоками, носили котурны выше собственных голеней, и по бокам им требовалось по особому лакею, чтобы дамы эти ходили на балы или послушно склоняли головы на воскресной мессе, не теряя равновесия. Котурны повыше сужались книзу, чтобы весить поменьше, а затем, к земле, вновь расширялись до искусственной стопы. Проворный шут и умелый акробат, наловчившийся профессионально перемещаться на ходулях, с соответственно подшитыми штанами мог бы легко сойти за человека на добрый фут выше, чем на самом деле. Нашлись бы пристойные котурны.

– У меня есть пара поменьше. Не такие роскошные, как сенаторские жены носят.

– Идеально. Тащи. – Со своими врагами в Венеции я на сей раз встречусь лицом к лицу.

– А потом можно дошить тебе штаны?

– Почти. Кроме того, мне потребуются три метательных кинжала и до офигения здоровенный гульфик.

– Ну, вот это уж дудки, пушистая ляля моя, – фыркнула она. Фыркнула! Мне!

– Сварливая нимфа. У твоего народа разве не полагается сажать вас в красную кушу, когда вы такие?

– Я не такая. А ты меня раздражаешь.

– Твое сострадание не выдерживает мышиного пука?

– Вскормленное очарованием, оно, ляля моя, с твоим появлением зачахло.

Явление восьмое Фунт мяса

– По-моему, тебе не стоит быть дома, когда он вернется, – сказала Джессика. – В доме никого быть не должно.

Мы стояли на дорожке перед жилищем Шайлока. К ногам под свои новые парусиновые штаны я пристегнул котурны Джессики и теперь был несколько выше девушки. Походил по брусчатке и довольно быстро убедился, что на подставках этих могу изображать естественную походку – высотой они были всего три четверти фута.

За исключением солдат и моряков, почти все венецианцы под длинными блузами своими носили трико, по-византийски, иногда – с поясом, – но и мои парусиновые штаны внимания бы не привлекли, ибо почти не виднелись из-под длинного, поеденного молью шерстяного кафтана, который Джессика вызволила из папашиного гардероба. В обвислой желтой шляпе я теперь выглядел в точности как обтерханный еврей.

– Вот он идет, – сказала Джессика. Из-за угла в десятке зданий от нас вывернули двое и двинулись по дорожке к дому, оба – в одеяньях, сходных с моим: темные грубые кафтаны и желтые скуфьи, у обоих длинные седые бороды. – Папа будет пониже ростом, – пояснила Джессика. – А с ним – друг его Тубал. Он вон там живет.

И точно – как по ее команде, парочка остановилась и после обмена улыбками и кивками мужчина повыше зашел в дом. Шайлок двинулся дальше по дорожке, не очень-то глядя вперед. Нас он пока не заметил.

– Сынок, это ты? – раздался голос позади нас. Я обернулся. Постукивая клюкой, к нам приближался Гоббо.

– Там старый слепой шизик, – яростно прошептал я. – Скорей, спихни его в канал, пока он нам все не испортил.

– Мальчик мой? Ты ли это? – гнул свое Гоббо.

– Подыграй ему, – сказала Джессика. – Нет времени.

– Добренького утречка, па, – приветствовал его я. – Колченогая коряга смрада.

– Карман! – укоризненно воскликнула Джессика.

– Ну ебать же копать, девушка, он слепой в городе, где на улицах полно воды, – как так вышло, что он за последние полвека ни разу не споткнулся и не искупался?

– Мальчик? – упорствовал Гоббо. – Ого, похоже ты уже совсем взрослый. Дай мне пощупать твое лицо.

Он на ощупь подобрался ко мне. Клюка, привязанная шнурком, болталась у него на запястье, а руки обшаривали воздух, мотаясь, как усы заскорузлого омара.

Я шагнул в сторону – расторопно, как мне показалось, – и произнес:

– Только тронь меня, и я суну тебя в воду и подержу, пока не растворись.

Мне было теперь гораздо лучше, и я чувствовал в себе довольно сил, чтобы утопить немощного слепца, как полагается.

Мотнувшись на хилых ногах мимо меня, левой рукой Гоббо оперся о грудь Джессики, а правая упокоилась на лице подошедшего Шайлока.

– Ну, мальчик мой, дойки у тебя материны, а вот – любит же Господь пошутить – лицо в меня.

Джессика прибрала обе руки Гоббо к его бокам и направила к стене.

– Вы пока отдохните тут, синьор Гоббо, пожалуйста, а мне надо отцовскими делами заняться.

– Что это? – произнес Шайлок, помавая руками от Джессики ко мне, потом к Гоббо. Процедура повторялась снова и снова. – Вот это вот? Они что? Перед моим домом? Это мой дом. Дочь, что это?

Гоббо благополучно разместился у стены подальше от воды, и Джессика подошла к отцу, склонив голову.

– О, папа, это – хорошие новости, вот что это. Этот юный еврей согласился стать нашим рабом. Он нам будет все чистить и носить, таскать ноши, может, мы даже сумеем купить себе лодку, и он станет возить тебя в Риальто.

– Шалом, – произнес я, истощив свои знания иврита за два слога.

Шайлок подался ко мне и заглянул мне прямо в глаза.

– Как звать тебя, мальчик?

Как-то поздновато, я бы сказал, сообразив, что надо было подумать об этом раньше, я симпровизировал:

– Ланселот.

– Правда? – удивилась Джессика, и все лицо у нее опало, как занавес.

– Ланселот – имя не еврейское, – сказал Шайлок.

– Он не в традиции воспитывался, – придя в себя, поспешила мне на выручку Джессика. – У него только мать еврейка.

– Да ну? – подал голос Гоббо. – А вертихвостка вечно изображала, будто к мессе покандюхала. Да-да, парнишка, мамаша твоя милашка была, еще какая.

– У евреев не бывает рабов, – сказал Шайлок.

– Но в том-то и красота, папа. – Джессика сделала шаг между Шайлоком и Гоббо. – По закону только говорится, что мы не можем *покупать* или *продавать* рабов, а мы его не покупаем. Он сам к нам пришел.

Услышав, как все произносится, я сообразил, до чего дрянной это был замысел, но мне нужно было где-то жить, прятаться, больше того – я должен был вернуться в город под прикрытием и понять, что случилось с моим подручным Харчком и обезьянкой Пижоном.

– Что ж, синьор Ланселот Гоббо, Моисей вывел наш народ из рабства не для того, чтобы мы надевали путы друг на друга. Приятного дня.

– Не рабом, синьор, – поспешно сказал я. – Кто сказал «раб»? Глупая девчонка. Я стану вашим работником. Но все это я исполнять могу – и не только. Мог бы помочь вам с бухгалтерией. Числам обучен, могу читать и писать.

– Обучен числам, можешь читать и писать? Та-ак...

– Латынь, греческий и английский, плюс чутка итальяно и, блядь, французского.

– Блядь, французского, говоришь? Та-ак...

– *Oui*, – ответил я на чистейшем, блядь, французском.

– А сколько ты пожелаешь получать за подобные услуги, синьор Ланселот Гоббо?

– Лишь кров и стол, синьор. Крышу над головой и горячую пищу.

– За кров и стол работают рабы.

– И еще фартинг.

– Фартинг? Кров, стол и четверть пенни будут тебе платой? Та-ак...

– В неделю, – сказал я, навязывая свои условия. Я заметил, как в глазах Шайлока зажегся огонек: хоть в рабовладельцы он и не подался бы, но от выгодной сделки отказаться было сложно.

Он кивнул, как бы сложив в уме цифры и там же одобрив сумму.

– Что ж, синьор Ланселот Гоббо, тогда я воспользуюсь твоими услугами неделю, на пробу. Сегодня проводишь меня в Риальто – понесешь ящик с бумагами, чернилами и перьями. Еще я желаю приобрести бочонок вина. Отнесешь мне домой. За эти и подобные услуги получишь кров, стол и фартинг за всю неделю. Договорились?

– О да, синьор, – ответил я и поклонился.
– Будь здесь после обеда. – Шайлок обогнул Джессику и вошел в дом. – Обедать желаю, дочь, – крикнул он через плечо.
Джессика развернулась ко мне и яростно прошептала:
– *Ланселот*? Откуда ты выкопал этого клятого *Ланселота*?
– Я подумал, это объяснит, почему у меня английский выговор.
– У нас у всех английский выговор, тупица.
– Я знаю, – ответил я. – В итальянском-то городе. Тебе это не странно?
Ее передернуло от раздражения.
– Ну, ты хотя бы уже в нем. Спать тебе, правда, теперь придется внизу, в кухне. – Она сунула руку себе в корсаж и вынула кусок пергамента, туго сложенный и запечатанный воском, на котором была оттиснута менора. – Будешь в Риальто – удерешь и передашь вот это Лоренцо. Он будет где-то с Антонио и его компаньонами. Поспрашиваешь, его там все знают. Отдашь ему записку. Не подведи меня.
– Мне нужно годовое жалованье авансом, – сказал я. – Папе же пообедать как-то надо.
– Ах какой хороший мальчик, – сказал Гоббо. – Но придется обойтись рыбой с хлебом. Во всем этом городе приличной сосиски днем с огнем не сыщешь. Как будто вся свинина отсюда сплыла, а?
– Он же не знает, где он, верно? – прошептал я девушке.
Та покачала головой.
– Два года назад сошел с парома и с тех пор бродит по острову – думает, что в самой Венеции. Никому духу не хватает его поправить. Мы его подкармливаем.
– А тебе не приходило в голову, что его настоящий сын, может, до сих пор в Венеции по нему скучает?
– Ох еть, – ответила она. – Об этом-то я и не подумала. Ну, он же твой папаша, ты ему и помогай.

* * *

Через час я накормил старика Гоббо и на отличной брусчатке у причала худо-бедно выправил себе до бритвенной остроты старый рыбный нож, который умыкнул с кухни Шайлока. Для метания он говно говном – лезвие тонкое, дубовая рукоять тяжелая, – но меж ребер войдет с полтычка, вскрыет артерию, если умело применить, а самое для меня главное – снимет с письма печать так, что перлюстрация останется незамеченной. Письмо Джессики я запечатал снова – кончиком того же ножа, раскаленным в жаровне торговца едой: оттиск на воске остался нетронут, а вот содержание записки меня встревожило. Не будет у меня времени измышлять хитроумные рацеи и сложные планы по ниспровержению врагов. Месть придется отыскивать с лету, и пусть за меня говорят мои деянья.

– Пойдем, Ланселот Гоббо, – позвал Шайлок, маня меня из полоски тени у передней стены его дома, где я развалился. – Я иду предоставить ссуду и обеспечить поручительство почтенного Антонио Доннолы, венецианского купца. Пойдем, мальчик, носи мои бумаги. Пойдем поучишься вести дела.

Прямо в гнездо аспидов, из коего я лишь недавно спасся. Что ж, так тому и быть.

Я вышел с Шайлоком на жару, таща резной деревянный ящик, в который были сложены пергаменты, чернила и перья. Как выяснилось, с годами Шайлок подрастерял близкое зрение и читать или писать собственные договоры не мог, поэтому заниматься этим приходилось Джессике дома – либо платить нотарию. Умение читать и писать придавало мне ценности. Я почел за лучшее не ставить его в известность, что на другом краю лагуны, на острове стек-

лодувов Мурано, уже начали изготавливать небольшие линзы, называемые очками: они покоились в оправе, сидящей на переносице, и могли улучшить зрение, потребное для чтения.

Остров мы пересекли по узкой тропе, вдоль которой дома теснились так близко, что нависали над этим переулком своими дубовыми арками верхних этажей. В переулке было прохладно, и ветерок с Адриатики сдувал всю городскую вонь, поэтому другая, солнечная сторона острова, обращенная к городу, где сустились лодочники и торговцы, положительно оскорбила все мои чувства. К тому ж, обряженный в длинный темный кафтан, я чувствовал, как по всей моей спине цветет и струится пот. От жары и духоты венецианского лета мне хотелось удрать в зеленые холмы Англии, омытые дождями и усеянные овцами. В Венеции хоть лошади не водятся, а нечистоты из жилых домов сливаются в воду и уносятся отливами, поэтому как бы просолен и изгваздан рыбой ни был этот город, он менее зловонен, чем Париж или Лондон в летний день.

Шайлок провел меня по причалу к гондоле и жестом велел сесть напротив себя. Гондольер перевез нас через широкий *транчетто* к устью Большого канала. Вода была синезелена и так прозрачна, словно подсвечивалась снизу. Я различил, как в глубине движется что-то темное – слишком глубоко, не разобрать, что; может, и тень нашей гондолы. Но не успел я осведомиться об этом у гондольера, как Шайлок потребовал моего внимания.

– Ну, – сказал он. – Ты англичанин?

– Так точно, синьор. Родился и вырос в Песьих Муськах, что на реке Уз.

– Понятно. А старик Гоббо, отец твой, – он венецианец?

– Матушка была англичанка. – Была, само собой. Утопилась, когда я был совсем младенцем, но англичанка такая, что куда там Святому Георгию, хотя я счел, что еврею про это лучше не знать: иудейский пантеон в смысле святых весь состоит из всякой сволочи.

– Стало быть, английская еврейка. Та-ак. – Он погладил бороду. – Про людей из Йорка что-нибудь знаешь? Йоркские горожане занимали деньги у евреев, а потом у них случился неурожай, и несчастье это свалили на наших. Заперли всех евреев в тюрьме замка и сожгли заживо²⁶.

– А, ну да, только я в тот день болел, если память меня не подводит. Прискорбно. – Я воззрился на дно гондолы с подобающим, как я надеялся, прискорбием.

– Это случилось сто лет назад, – пожал плечами Шайлок. – Нашим не дозволяют владеть собственностью, но нас ненавидят за то, что даем взаймы под проценты, чтоб хоть как-то прокормиться.

– Ну так то ж Йоркшир, край стоеросовых²⁷ стервецов, нет? Жопа всей Блятьки²⁸, по моему мнению. – Песьи Муськи, само собой, располагались ровно посередке всего Йоркшира, поэтому если Йоркшир – жопа Британии, стало быть, я, рожденный и выросший там, – ну, не вполне искренен.

Когда гондольер развернул лодку в устье Большого канала, кишевшего суденышками, что-то ударило нас в дно, и рулевого сшибло с ног. Он успел уцепиться за весло и за борт не свалился, а когда оправился – стал озиаться, что за судно нас эдаким манером оскорбило. Но вокруг никаких других лодок не было.

– Видал? – спросил меня он.

Я пожал плечами.

– Скала?

– В канале нет скал.

– Дельфин? – предположил Шайлок.

²⁶ Это действительно случилось в Йорке в 1190 году. – *Примеч. авт.*

²⁷ Стоеросовый – бестолковый. – *Примеч. авт.*

²⁸ Блятька – Великобритания. – *Примеч. авт.*

– Дельфинов мы все время видим, – ответил гондольер. – Но ни разу не слышал, чтоб дельфин таранил лодку.

– Из всех крупных рыб они самые противные, не так ли, – высказался я с огромным апломбом, проистекающим лишь из бесчисленных лет изучения, блядь, всего на свете про этих ебанных рыб. Я твердо знал, что это сделал не дельфин.

– Жиды, – промолвил гондольер и сплюнул в канал, отмахиваясь от наших глупостей.

Вот пожалуйста. Приняли за одного из колена, ни жучиной лапки не пришлось с письки срезать. Когда встретимся с Джессикой лицом к лицу снова, швырну ей это в означенное лицо, так сказать.

– А жид тебе не платит, да? – осведомился Шайлок, очевидно, не так радуясь за то, что меня включили в их племя.

Гондольер вдруг очень сосредоточенно зарулил к мосту Риальто.

– И мои жидовские деньги на рынке как-то не так ходят, да? – Шайлок встал в лодке перед гондольером, стараясь перехватить его взгляд. – Ты предпочтешь, чтобы плату твою, мою жидовскую монету, я отдал нищему на причале, дабы не измарала она твоей христианской руки? Что скажешь?

– Не хотел оскорбить, Шайлок, – пробурчал гондольер, втискивая лодку меж двух причальных шестов. – Вы мой самый верный ездок, синьор.

– Тогда приятного дня, – ответил Шайлок, швырнув медную монету в лодочника и сходя на берег. – Вечером домой мы переберемся как-то иначе.

– А до вечера будем скитаться, – сказал я, выбираясь на причал с деревянным ящиком. – Просто два жиды. Вечерние. – Я чувствовал, как на меня накатывает песня. – Вечные вечерние жиды. – Я подавил в себе тягу к рифме. – Развлекаемся, как я и ты. – Ну, почти подавил.

– Не отставай, мальчик, – велел Шайлок.

Я поспешил за ним следом по причалу на оживленную площадь Риальто – опустив голову, скрывая лицо под обвислыми полями желтой шляпы. Человеку, привыкшему внимание к себе привлекать бубенцами и нагло сквернословящей куклой на жезле, сохранять анонимность оказалось трудно. Я не ожидал, до чего трудно. Повсюду крылись ирония и смех, моя святая шутовская обязанность заключалась в том, чтобы тыкать в них пальцем – нет, выгонять их из углов и щекотать, пока не захихикают.

Я догнал Шайлока.

– Как-то вы слишком по-ветхозаветному с лодочником, – сказал я.

Он развернулся ко мне стремительно и принял позу, подобающую нотации. Такое я и раньше видал. Повсюду.

– С тех пор, как нас избрали, Ланселот, страданье – удел нашего народа, но все равно мы должны учиться у пророков. А чему нас может научить история о стычке Моисея с фараоном? Когда Моисей наслал семь казней египетских на египтян? Чему это нас может научить, юный Ланселот?

– Если о казнях говорить, лягушки – не так уж плохо вроде? – Меня растили в монастыре. Заветы я знаю как Старый, так и Новый.

– Нет, урок здесь в том, чтоб *не ебать мозги Моисею!* – Он похлопал меня по плечу. – Пойдем.

Я вдруг поймал себя на том, что старый еврей мне, пожалуй, нравится. Не по себе мне как-то было от мысли о страданиях, что выпадут на его долю, – и даже, быть может, от моей руки. Держа это в себе, предаю ли я собственное племя?

Шайлока поприветствовал молодой купец в пурпурном шарфе – помахал ему, призывая зайти в галерею, где собралась кучка мужчин.

– Бассанио, – сказал Шайлок. – Приходил ко мне порученцем от Антонио, желавшего занять денег. Ты этого Антонио знаешь, Ланселот?

– О нем – знаю.

– А. Ну да. Так вот знай. Я ненавижу его всем своим существом и подмять²⁹ его желаю. Тебя это не фраппирует?

– Нет, синьор, – ответил я. – Ибо уверен, он вашему гневу дал повод. – «Происходящий отчасти из того, что он большой гноющийся пиздюк!» – поспешил я не добавлять, дабы не предъявлять собственной значительной предвзятости. И все равно по всему выходило, что мы с Шайлоком на самом деле – братья по оружию, пусть он этого и не знает.

Мы зашли вслед за Бассанио под своды, где Антонио принимал компанию молодых людей. Все они казались слишком высоки или слишком светловолосы для Лоренцо Джессики. Сам купец облачен был гораздо роскошнее своих приспешников, весь в шелках и дамасте, – гораздо роскошнее, на мой вкус, нежели приличествует, если собираешься просить о займе своего врага. Очи я держал долу, а почти все лицо мне скрывали поля шляпы. Если меня разоблачат, сбежать на котурнах я не смогу – не успею удрать от свиты Антонио, но ей-божьи яйца на облачной подстилке, рыбным ножом я искромсаю бедренную артерию Антонио, если меня вдруг завалят, и он сам увидит, как тонкие колготки его испортит жизнь, стекающая ручьями на брусчатку. Но погубить требовалось троих, троим отомстить, поэтому рыбному ножу лучше покоиться в ножнах своих из тряпья, сокрытым в сапожке Джессики, – обувь я тоже у нее позаимствовал. (Да, у меня маленькие ноги. Остальное – миф. А вас умным никто не считает.)

– Антонио, – кивнул купцу Шайлок. – Вы же не занимаете. По крайней мере, я такое слышал, когда вы костерили род моих занятий.

– Взаимы я, Шайлок, денег не беру и не даю, лихвы не одобряя. Но так как в них нуждается мой друг, то правило нарушу я³⁰. Уже сказал он, сколько нужно денег?³¹

– Да, знаю: три тысячи дукатов³².

– И на три месяца³³, – вставил Антонио.

– Я и забыл. Да точно, три месяца³⁴. Но по Риальто ходят слухи, что ваши средства – на зыбях. Одно судно плывет в Триполи, другое – в Индию, а третье в Мексике, как понял я на бирже, а четвертое держит путь в Англию, и прочие суда по морям разбросаны. А корабли всего лишь доски, моряки всего лишь люди, и есть крысы сухопутные и крысы водяные, воры на суше и воры на море, то бишь пираты, и есть угроза вод, ветров и скал³⁵. И я должен нести ваши риски без вознаграждения? А вы перед всем купечеством поносили мой промысел и честный мой барыш, как лихоимство³⁶.

– Взимайте сколько пожелаете. Мои суда и состояние все вернутся через два месяца, за месяц до истечения поручительства.

– Три тысячи... Хм. Сумма немала³⁷, – произнес Шайлок, задумчиво поглаживая бороду.

– Да не то слово – это ж целая куча больного слона, – прошептал я. – Вы сбрендили?

– Ша, мальчик, – отвечал Шайлок.

²⁹ «Венецианский купец», акт I, сц. 3, парафраз, пер. О. Сороки.

³⁰ Там же, пер. И. Мандельштама.

³¹ Парафраз, там же, пер. О. Сороки.

³² Там же, пер. П. Вейнберга.

³³ Там же, пер. И. Мандельштама, Т. Щепкиной-Куперник, О. Сороки.

³⁴ Там же, пер. П. Вейнберга.

³⁵ Там же, пер. О. Сороки.

³⁶ Парафраз, там же, пер. И. Мандельштама.

³⁷ Там же, пер. О. Сороки.

– Извините. – Все посмотрели на меня, когда я открыл рот, даже Антонио, и в глазах их никакой искры узнавания не зажглось, да и у меня во взоре он ничего не различил. Взгляд его остановился на бреге моего одеянья, и различил он лишь одно: жид. Недостойный второго взгляда. Моя желтая шляпа начинала мне нравиться.

Шайлок произнес:

– Синьор Антонио, неоднократно меня вы на Риальто попрекали и золотом моим и барышом. Я пожимал плечами терпеливо: терпеть – удел народа моего. Безбожником, собакой обзывали, плевали на еврейский мой кафтан, и все за то, что пользу мне приносит мое добро³⁸. – Старик воздел руки, словно бы ему явилось откровение, и продолжил: – Та-ак. Но теперь, как видно, стал я нужен. И что же? Вы приходите ко мне, «Нам надо денег, Шейлок», – говорите. Вы харкали на бороду мою, пинками, как приبلудную собаку, с порога гнали – а теперь пришли за деньгами. Не должен ли сказать я: «А разве у собаки деньги есть? Как может пес три тысячи дукатов ссудить?» Иль вместо этого поклон отвесить низенький и, по-холопыи смиренным, слабым шепотком промолвить: «Синьор почтенный, в среду на меня вы плюнули, такого-то числа пинком попотчевали, псом назвали – и вот за все за эти ваши ласки ссужу вам деньги я»?³⁹

Пока Шайлок говорил, Антонио пятился, пока его не прижало к стене, как будто старый еврей ссал все это время на его башмаки, а он уворачивался от струи. Теперь же он шагнул вперед.

– Я и теперь готов тебя назвать собакою, и точно так же плюнуть в твое лицо, и дать тебе пинка. Когда займы ты дать согласен деньги, так и давай – не как друзьям своим... Нет, как врагу скорее ты деньги дай, чтоб, если в срок тебе он не отдаст, ты мог, не церемонясь, с него взыскать⁴⁰.

Шайлок улыбнулся и помахал рукою, словно весь их диалог не имел никакого значения, а гнев Антонио был комаром, порожденным воображеньем.

– Смотрите, как вспылили! Хочу вам другом быть, снискать приязнь⁴¹, мой добрый Антонио. – Еще одна улыбка, словно бы ненависть, коя только что так и летала между ними, была всего лишь паром. Я и свой гнев на миг обуздал, ибо очевидно было – хоть и мне одному, – что Шайлок сделку держит твердою рукой. – Я ссужу вам эти ваши три тысячи дукатов на три месяца, и готов забыть, как вы позорили меня, помочь в нужде вам и не взять за то с вас ни гроша⁴². Я говорю по доброте сердечной⁴³.

– Что ж, это доброта⁴⁴, – подтвердил Бассанио.

– Да, – сказал Шайлок. – Пойдем к нотариусу. Подпишите заемное письмо⁴⁵. Все бумаги у моего слуги. И упомянем – просто ради шутки, – что в случае просрочки с должника взимается...⁴⁶

– Его елдырь! – вякнул я, сам несколько удивившись от того, что вообще раскрыл рот.

– Минуточку, – произнес Шайлок, воздев палец, дабы отметить место, на коем его прервали. – На пару слов с моим слугою. – Он обхватил меня рукою и отвел в сторонку. – Ты рехнулся? – прошептал он.

³⁸ Там же, пер. И. Мандельштама.

³⁹ Там же, пер. О. Сороки.

⁴⁰ Там же, пер. П. Вейнберга.

⁴¹ Там же, пер. Т. Щепкиной-Куперник.

⁴² Там же, пер. И. Мандельштама.

⁴³ Там же, пер. Т. Щепкиной-Куперник.

⁴⁴ Там же, пер. О. Сороки.

⁴⁵ Там же, пер. И. Мандельштама.

⁴⁶ Там же, пер. О. Сороки.

– Отпилите ему отросток тупым ножом, чтоб он орал и просил пощады, – сказал я чутьоку громче, нежели вежливо предполагал заговорщический тон Шайлока. Тут уже меня ничто не удивляло: коготок увяз...

– Ты, мальчик, отныне будешь молчать и носить мои бумаги, а я, уж позволь, дела вести буду сам.

– Но...

– Я знаю, кто ты, не то, кто ты сказал, – прошептал Шайлок. – Хочешь, могу *им* об этом сообщить?

– Продолжайте, – поклонился я и отпустил его вести переговоры дальше.

– Ха! – произнес Шайлок, вернувшись к компании. – Мальчонка иногда простак. Держу его из милосердия к его бедному слепому отцу. Итак, Антонио, о чем бишь я – да, деньги даю, беспроцентно, сроком три месяца, и, шутки ради, оговорим-ка в виде неустойки, что, если вы в такой-то срок и там-то такой-то суммы не вернете мне, в условие нашем что-либо нарушив, я...⁴⁷ – Шайлок вновь покрутил рукой в воздухе, словно бы наматывая на катушку мысль, парящую пред ним. – ...Из какой угодно части тела фунт мяса вправе вырезать у вас⁴⁸. – Улыбка.

Антонио расхохотался, закинув голову.

– Что ж, я не прочь! Под векселем таким я подпишусь и объявлю, что жид безмерно добр⁴⁹.

– Нет! – воскликнул Бассанио. – Я не хочу ручательства такого. Пусть лучше буду прозябать в нужде⁵⁰.

– Не бойся, милый друг, я не просрочу⁵¹. – Антонио сжал плечо Бассанио, и рука его задержалась там, пока он шептал – но так громко, что и мы слышали: – Двух месяцев не минет, как вернутся мои суда, и будут у меня наличности вдесятеро ценней, чем этот вексель⁵². Там и посмеемся над легкомыслием жида.

– Да, мальчик, – произнес Шайлок. – Что пользы мне от этой неустойки? Людского мяса фунт – от человека! – не столько стоит и не так полезен, как от быка, барана или козла⁵³. Лишь для того ему услугу эту я предложил, чтоб приобрести себе его приятель⁵⁴. Что скажете, Антонио мой добрый?

– Да, Шайлок, я согласен подписать⁵⁵. Вперед.

Шайлок ухмыльнулся, но тут же напустил на физиономию вид деловой серьезности и потрохал прочь, Антонио – следом. Свита отлепилась в свой черед от стены, и я поравнялся с самым высоким.

– Скажите, друг, не зовут ли кого-либо из вас, господа, Лоренцо?

– Нет, жид, но Лоренцо – наш друг. Он тебе зачем?

– У меня к нему записка.

– Вечером мы встречаемся у синьоры Вероники. Можешь мне сказать.

– Нет, не могу, – ответил я. – Послание я должен передать только Лоренцо лично.

⁴⁷ Там же, пер. И. Мандельштама.

⁴⁸ Там же, пер. И. Мандельштама.

⁴⁹ Там же, пер. П. Вейнберга.

⁵⁰ Там же, пер. О. Сороки.

⁵¹ Там же, пер. Т. Щепкиной-Куперник.

⁵² Там же, пер. О. Сороки.

⁵³ Там же, пер. Т. Щепкиной-Куперник.

⁵⁴ Там же, пер. П. Вейнберга.

⁵⁵ Там же, пер. О. Сороки.

– Я Грациано, близкий друг Лоренцо. Спроси любого здесь, и все тебе скажут, что мы с ним – как братья.

– Не могу, – упорствовал я.

Грациано нагнулся поближе к моему уху и прошептал:

– Я знаю про Лоренцо и жидовскую дочку.

Я чуть не споткнулся и не сверзился с кутурнов.

– Ебать мои чулки, в этом ятом горшке дымящихся ссак, а не городе, хоть что-нибудь можно удержать в секрете?

Джессика будет очень недовольна своим новым рабом.

Явление девятое

Две тысячи девятьсот девяносто девять золотых дукатов

Я пошел за Шайлоком по дорожкам вдоль узких каналов к пристани у площади Святого Марка, где мы сядем на паром домой через *транчетто*. От нотариуса мы ушли с подписанным векселем Антонио, и с тех пор Шайлок не произнес ни слова о том, кто я такой на самом деле. Я нес небольшой бочонок вина, и хоть он был не ужасно тяжел, держать равновесие на котурнах Джессики оказалось непросто.

– Так что, – произнес наконец я. – У вас, евреи, стало быть, принято выкусывать у чувачков случайные куски мяса?

– Ты же сам предлагал забрать его мужское естество, *Ланселот Гоббо*. Ни один мужчина не согласится на такую сделку. Рука, нога, любой кусок мяса на выбор – пожалуйста. Я просто взял из твоего каприза все, что можно было спасти. Удивительно, что Антонио согласился. Нужда его превосходит заботу о приличиях.

– А зачем ему занимать у вас средства?

– Для этого юноши, Бассанио, который попросил меня об этом займе сегодня утром в Риальто. Говорит, что выкупит на них себе невесту – госпожу Порцию Бельмонтскую. И Антонио в этом намерении его поддержал. Каковы резоны Антонио, мне без разницы, да только из-за них я в выигрыше.

– Порцию? Дочь Брабанцио? Да он же один из самых богатых сенаторов Венеции, а Антонио – компаньон его почти во всех их отвратительных замыслах. Он бы ему дал три тысячи дукатов, только попроси.

– Так ты не слышал, значит? Монтрезор умер.

Я намеревался уточнить – когда? как? Но Шайлок поднес к губам палец, призывая к молчанию. Мы дошли до паромной переправы, приспособленной для перевозки узких ручных тележек. Ясно было, что с паромщиком Шайлок не знаком, как с тем гондольером, на которого мы наплевали, пройдя по жаре дальше и сев в эту плоскую помойную лоханку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.